БОРИС
ЯМПОЛЬСКИЙ



Проза последних лет

Б. Ямпольский

БОРИС
ЯМПОЛЬСКИЙ



Проза последних лет

"АКРОПОЛЬ"
Санкт-Петербург
1998

ББК 84 Р7
Я 57

ISBN 5—86585—047—4

Я $\frac{4702010201—036}{4П7(03)—98}$ Без обьявл.

СЮЖЕТ СУДЬБЫ — СУДЬБА СЮЖЕТА

Предотвратим незначительное недоразумение: перед вами — не тот Борис Ямпольский, о котором, очень вероятно, вы подумали, увидев обложку. Автор «Избранных минут» — однофамилец известного советского писателя. Заурядная случайность — но однажды, давно, она, кажется, спасла нашему автору жизнь (как — он расскажет сам), а жизнь в конце концов превратилась в эту вот книжку — и теперь призрак двойника (вполне почтенный призрак вполне симпатичного двойника) почти неизбежно промелькнет между автором и читателем — разумеется, лишь на миг.

Из всех проделок судьбы, из бесчисленных ядовитых шуток, сыгранных ею с Борисом Яковлевичем, эта — самая беззлобная.

Обидней будет, если читатель примет «Избранные минуты» за собрание мемуарных отрывков: обознается опять. А это возможно и даже легко: пробежали первую страницу — отзвуки детства и пронзительная печаль утрат; за-

глянули на последнюю — автобиографические числительные — то ли сложение, то ли вычитание, а взамен итога, в остатке — самоутешительный афоризм; пролистали насквозь — ясно, что и этому человеку, рассказчику, чудовищное наше государство, как многим другим, изломало вдребезги жизнь, а он, как немногие, собрал ее заново из каких-то необыкновенно тихих радостей; видно, что написано хорошо — фразой розановской школы: стремительный синтаксис удерживает события здесь и сейчас, в переживаемом моменте; обаятельный такой лаконизм, как будто читаешь мысли, а не слова... Вот вывод и готов: просто воспоминания — впрочем, талантливые — частного лица; очередное свидетельство очередной жертвы; а впрочем, отрадно, что в непостижимо жестоких обстоятельствах наш автор чудом сохранил свежесть чувств, достоинство и юмор...

Так обойдется невнимательный читатель с этой единственной в своем роде и удивительной книгой — с историей читателя вдохновенного, чья любовь к ли-

тературе стала участью, предопределила поступки.

Дорого стоила эта любовь — Борису Яковлевичу пришлось отдать все и вдобавок все вытерпеть — зато и она его спасла и сохранила и подарила смысл существования и вспышки счастья.

Это было (и есть) в самой сути своей религиозное чувство: ведь бывают времена и страны такие, что негде, кроме литературы, укрыться истине, добру и красоте, и любая порядочная книга становится священной. Такая примерно ситуация описана в романе Рея Брэдбери «451 по Фаренгейту». Автор «Избранных минут» несколько десятилетий в такой ситуации пребывал, изо всех душевных сил сопротивляясь самым могущественным в истории организациям, пытавшимся отучить его читать — то есть думать — то есть проводить жизнь как подобает высшему существу.

Потому что, согласитесь, нельзя же, прочитав «Капитанскую дочку», «Ионыча» или «Крысолова» — подать руку осведомителю, трусу, хаму, лжецу — ни

поднять ее в знак одобрения людоедской резолюции.

Такой взгляд на вещи — неотъемлемое достояние автора и сюжет «Избранных минут». Борис Яковлевич Ямпольский всматривается в лица тайных единоверцев — как мало их было, как тяжко им приходилось, как они были прекрасны! Он вникает в собственную странную биографию — в сущности, катастрофа: знай увлекался людьми и сочинениями, как последний романтик; ничего не нажил и все, кроме любви, потерял, и ничего потерянного не жаль — только одной рукописи украденной жаль безумно: иногда чувствуешь себя пропущенной главой, непрочитанной страницей. Что же, такая, значит, судьба...

Грустная и прелестная книга в руках у вас, дорогой читатель.

Самуил Лурье

ИЗБРАННЫЕ МИНУТЫ ЖИЗНИ

Алле Яковлевне
Любаровой-Ямпольской

* * *

Средневековый философ, предшественник экзистенциалистов рэб Зуся писал: «Когда я умру, Бог не спросит меня: „Почему ты не стал Моисеем?" Спросит: „Почему ты не стал Зусей?"»

* * *

Вот какая минута была мне ночью. С полчасика почитав перед сном, пока глаза не стали слипаться, отложил я книжку, выключил светильник и повернулся лицом к диванной спинке, совсем готовый уснуть.

Задержало от ускользания в сон что-то шершаво-суконное у лба вместо привычного холодка клеенки. Не открывая глаз, тронул я это место рукой: нет ничего — пупырчатая обивка дивана.

Да и с чего мне вдруг — холодок клеенки?

Шевельнувшееся сознание очнулось догадкой: батюшки-свет! так ведь это наш стародавний (клеенчатый!) не забыла кожа лба моего! Тот, с откидными — на петельках — валиками. Помнишь их, диваны тридцатых–сороковых годов?.. С мягкой спинкой в дубовой раме, мой первый мальчишеских лет диван!

Сна как не бывало.

Сколько лет прошло — кожей помню!

Да что «помню»! Проснись я, кажется, на том диване завтра, разбуженный маминым: «вставай-ка, вставай, в школу опаздываешь», — оторопел бы, думаешь? Ничуть! Напротив: тут только и стало бы все на свои места. Сон! Ну конечно же, сон мне приснился такой. Злодею не выдумать. Ни мамы будто в живых, ни папы, и сам я совсем взрослый уже, даже пожилой, почти старик. Бог знает где, один-одинешенек, какая-то комната, какая-то женщина рядом...

Нет, удивительно это все-таки, что малую малость начальных лет под отчим кровом душа знает, как материк свой, а все остальные долгие годы самостоятельной жизни — все островки ей какие-то, островки — чужбина.

Или я это только урод такой?

* * *

Астрахань... Чудно мне услышать это слово, чудно́ и чу́дно. Фамилия детства, а не город совсем, Астрахань для меня. То есть и город, конечно, но город меньше всего: только что в окнах, да из разговоров взрослых.

О путине, например.

О том, что, ну, скажем, «сельдь пошла». Весь дом знает, что сельдь пошла, и папу когда теперь ждать.

— Яков Давыдыч дай Бог к ужину.

Об исадах. О том, что:

— Сколько и чего-чего только не навезено. И лодками, и на верблюдах. Берег ломится от овощей, фруктов, дичи какой угодно! — говорит вернувшаяся с исад мама Насте, сбежавшей по парадной лестнице принять у нее зимбиль, камышовую сумку, поскрипывающую от тяжести, — уф, думала, рука отвалится. Накрывай на стол. Завтракать будем, пока чуреки горячие.

Об «Аркадии».

Тоже мама. Няне. Застилая поутру постели, убирая в гардероб папину визитку:

— Публики... Весь город собрался! Извозчика не взять было. Пешком шли.

— То-то я и гляжу: светать стало — явились. Настька дверями загремела, *рабенка* мне подняла было.

«Путина», «исады», «зимбиль», «чуреки» — все астраханские наши слова, родные голоса из дальней дали.

И еще слово «рыбопромышленники» и слово «процесс». Последнее, правда, выветрилось потом от повсеместного употребления, но в одном контексте сохранило для меня и сегодня свой астраханский душок: «процесс над рыбопромышленниками» — «астраханщина».

—

Только о том и толки в доме. «Начинается процесс», «На процесс не пробиться», «Что на процессе?», «Подсудимых приводят, уводят — шашки наголо».

И это «шашки наголо» особенно угнетает всех.

— За что же их эдак-то? — домогается Настя у няни. — За что же, за свое-то, за нажитое? И куды их теперь? Ну куды?

— «Куды», «куды»! На кудыкины горы! Не знаешь, куды. Ты, Настасья, не серчай на меня. Как с тобой говорить, когда у тебя вода в заднице не держится.

А дедушка — ни папе, ни маме не отец, а мне дедушка — тот каждое утро, дождавшись свежей газеты, идет, высматривает из-под ладони маму (он плохо видит), и где найдет ее, там бросай она все, садись читай ему.

— М-да, — вздохнет, прослушав, — было самовластье, стало хамовластье.

Держатся в памяти и толки о «последнем слове». Я его понимаю буквально — раз «шашки наголо»... И «обмороки», «истерики» в зале суда.

Не иначе как и день приговора помню.

Что это еще за день мог быть, если позавтракали, а папа дома? Если он с мамой в гостиной и никаких гостей, а меня отсылают в детскую, и няня вздумала гулять меня вести в неурочный час, торопит:

— Не копайся, не копайся. Вишь, не до нас с тобой нынче.

Об «астраханщине» и все на том. Кроме фразы еще: «конфискованное вывозят на долгушах».

Заглянуть бы в тогдашние газеты.

—

А гулять меня няня водила в Братский садик.

Жили мы на Кутуме. Адрес с папиного голоса помню: «Бабай, — подзывает, бывало, извозчика, — Красная набережная, шестьдесят девять». Тротуар возле нашего дома вымощен кирпичом в елочку. Иду с няней за руку. Я норовлю ступать так, чтобы подошвы сандалий вдоль кирпича приходились, и сперва через два ступаю, потом через три, потом няня одернет меня:

— Не балуй, Боряска. Слышь, не балуй.

Переходим Кутум по горбатому мосту на бревенчатых ногах, напоминающих мне верблюда. Одна доска в настиле моста проломана, и в пролом тянет заглянуть, вцепившись в нянину руку — аж сердчишко зайдется от высоты под ногами. А у берега под мостом на про-

смоленной барже мальчишки с удочками. Это они по утрам голосят под окном: «Кошкам рыба! Кошкам рыба!»

А за мостом, уже у входа в Братский садик, старушки восседают рядком, сластями торгуют с лотков — маковками, леденцами на палочках — которыми полакомиться мне так и не пришлось ни разу.

— Нешто можно! Обсоски-то старушечьи! Им ведь скукота сиднем-то сидеть, вот они и одну пососут-пососут — положат, другую пососут-пососут — положат. Тьфу!

А когда в садике подсядет к нам кто-нибудь с ребенком тоже да семечками угостит, тут няня, чтобы и не обидеть, отклонив гостинец, и меня уберечь от мало ли чего, примется ядрышки вылущивать, мне на ладошку класть.

— Внучок? — спросит подсевшая.

— Сынок, — скажет няня и пояснит: — Не та мать, что родила, а та, что вынянчила.

А в случае, если расположится к подсевшей, и о себе поведает.

— Своих Бог не дал. А наглядевшись на сестриных, каково ей с ними, так и не

горюю. Я, бездетная, супротив нее, горюшка моего лукового, барыней век прожила. И замужем — хозяйкой в дому, и в людях теперь не сбоку припеку. Без меня за стол не сядут. Оттого и толкую матери нашей, дай ей Бог силушки, Софье Федоровне: расти деток, будет и тебе этак!

Няню с ее прибаутками мама частенько вспоминала. Теперь и вспомнить некому.

Эта страничка моя — последнее пристанище имени ее на земле, Ксении Сергеевны Вольниковой.

—

Лошадками моими были половые щетки; которая с черной щетиной — арабским вороным была, а с белой — орловским рысаком в яблоках. Запрягал парой в кибитку из поваленных кресел, накрытых пледом. Вожжами были ремни от дорожной постели (в поездах подушки, одеяла с собой возили). Ни маме, ни няне такая игра моя не нравилась: «Что за кавардак ты устраиваешь вечно!»

Купили мне коня, чудо коня. Весь как правдашний! С лошадиной шкурой, гривой, хвостом, со стеклянными глаза-

ми, костяными зубами — ну конь и конь! Только что на колесиках.

На ночь не расставался, к кровати привязывал.

Но скоро вернулся к своим щеткам. Никто понять не мог, в чем дело, а я — объяснить.

Дело было в том, что щетки давали простор воображению: они у меня то рысью шли, и я видел их выбрасываемые вперед ноги, стелящиеся по ветру гривы, хвосты, комья снега из-под копыт; то — «Пр-р-р!» — остановились как вкопанные и только глазом косят.

А этот — хоть и как живой, но стоит. Вижу же, что стоит!

—

А как звали мою учительницу музыки? То ли Вероника, то ли Виктория, то ли Леонидовна, то ли Леопольдовна. Не помню. И лица ее не помню. Помню только руки в веснушках и ее мне:

— Локти, локти. Где локти? Вот: на уровне клавиатуры. Еще раз.

Гаммы, этюды Черни, еще что-то и как венец всего — «Турецкий марш».

Дядя Саша, мамин брат, спрашивает у мамы:

— Что, тоже из бывших?

Неуемный коммунист, он на износ жил. Это его «дома не видали никогда»; это он, если забежит перекусить, «мочалку в борще сглонет, не заметит»; это к нему няня Настю отсылала узнать:

— Пошто елки не велят?

(Привозили крадучись, зажигали при наглухо закрытых ставнях.)

— Поймай ты его, поди, — отговаривалась Настя.

А он, случалось, и задерживался. Когда с Вероникой Леопольдовной совпадал...

Окончив урок и откланявшись, я направлялся пай-мальчиком к двери, чтобы за дверью пулей через всю галерею — во двор, к дяде Коле, дедушкиному сыну, на его скамейку у каретника под долговязыми акациями. Где он, если не винчестеры начищал, не дробь из накрошенного свинца на сковороде вьюшкой накатывал, то срисовывал мне зверей из Брема.

Замкнутый, малословный, в своей бессменной гимнастерке с лямочками для

погон, чтобы заговорил с кем, тем более разговорился — не помню такого.

Настя о нем:

— Бобыль — он и есть бобыль!

— Много ты чего понимаешь! — няня ей.

Что-то понимала, видать, старая.

Один случай запомнился мне, проясняющий, может, кое-что.

На хозяйской половине галереи стоял ореховый резной буфет, вынесенный сюда перед тем, видимо, как пустить квартирантов, нас то есть. Дядя Коля занимал его своей охотничьей утварью. Ни на какой службе ни состоя, обеспечивал и себя и отца охотами.

Однажды в нижнее отделение буфета (при дедушке было) он вбросил железный наконечник багра и угодил острием в дверцу. Дедушка ему:

— Ну что уж ты, Николай, или поаккуратней нельзя!

На что дядя Коля, помолчав:

— Да куда беречь-то теперь, отец?

Этим вот «куда беречь-то теперь» он и жил, думаю, в те годы, молодой полковник старой России.

Где, как кончил век свой? Не знаю. В огне Отечественной? В застенках отечества?

Не в одной ли с дядей Сашей камере?! А мог и со мной. Меня после дяди Саши через три года поволокли.

—

— Все за нянькин подол держишься, — подковыривает Настя. — Что за мужик из тебя будет?

Не заметила, видать, что я при дедушке уже больше, на его оттоманке. А у няни грудная сестренка на руках.

Дедушка! Душа моя дедушка! Через годы и годы тропинкой памяти возвращаюсь и возвращаюсь к тебе.

А ты сомневался: «Отдадут тебя в школу, накинут красную удавку, вспомнишь ли когда дедушку своего?»

— Какой красавец-старик! Кто это, Софья Федоровна? — спрашивает у мамы моя учительница французского (от которой все, что осталось, это: «лябаль», «лякок», «эн, дэ, труа, курон, дорэбуа») княгиня Вера Борисовна Туманова, не

снимавшая траура по расстрелянным сыновьям и мужу.

— Домовладелец наш, — говорит мама, — в прошлом пароходовладелец Мартемьянов. Красавец, говорите, а видели бы вы его в бобровой боярке, шубе касторовой с бобровым воротником — куда кустодиевскому Шаляпину!

Но в бобровом и я его раз только видел, задыхаясь от нафталина. Няня ему тогда:

— Павел Иваныч, что не наденете никогда? В церковь бы хоть.

— Буржуйскую-то? Сдерут ведь, Ксенья Сергевна. Да еще и в каталажку упекут. Нынче ведь как у нас? У кого в одном кармане вошь на аркане, в другом блоха на цепи, тот и прав кругом.

Долгими зимними вечерами, когда за заснеженными окнами вьюжит до свиста, а в дедушкиной комнате кафельная голландка потрескивает, постреливает угольками, и светлячок лампадки теплится пред ликом белобородого («Ну вылитый Павел Иванович!») Николы Чудотворца, сижу я на оттоманке под боком у него, слушаю, наслушаться не могу.

Он мне и про Иванушку Медвежье-Ушко, он мне и про Владимира Красное Солнышко, что идолищ поганых в Днепр сбрасывал, и про Бориса и Глеба, убиенных Святополком Окаянным, и про Алексея Михайловича Благочестивого, и про сына его, царя-плотника, и о жене его, и о коне его, и о славном шуте Балакиреве.

Не говоря уж о евангельских притчах в дедушкиных пересказах!.. Что же дивиться, что приспичило мне и крестик на шею.

— Тебе, Боренька, не надо. Другого вы вероисповедания. Потому у вас и икон нет.

— А нижние не другого? У нижних есть иконы?

(«Нижними» называли квартирантов первого этажа, которые «безобразничают, и управы на них нет».)

— У них есть, — улыбается дедушка, — нижние не другого.

— А у нас куличи тоже пекут, — не унимаюсь я, — и мацу и куличи.

Он смеется, обнимает меня:

— Оно не важно, голубчик, у кого какая вера. Веры разные, а Бог один.

И только в последний день нашей Астрахани, уже распрощавшись со всеми, наклонился ко мне (я у его ноги стоял):

— Ну, дружочек, с Богом.

И перекрестил.

—

Кто это сказал: «Где те липы, под которыми я рос? Нет тех лип и не было никогда!» Что «не было» — ладно, пусть, но как же «нет»? То, что есть в тебе, ведь существует.

* * *

Из детства до старости, до того, как «станешь стареньким», неправдоподобно далеко, а от старости до детства — рукой подать.

* * *

Арестовали меня вчерашним школьником, завтрашним студентом бы. Из-под родительского крылышка. Декламировавшим, и не без адресата:

Тебя я, вольный сын эфира,
Возьму в надзвездные края.

На что мама однажды:

— Пока не съешь все, что в тарелке, ни в какие «надзвездные края».

А папа:

— И чтобы к одиннадцати дома был, «вольный сын эфира»!

Дома я был в тот памятный вечер много позднее. Благо, соседские окна светились. Впустили меня через кухню, с черного хода.

На цыпочках прошел я в столовую, где спал на диване у окна. Не включая верхнего света, прикрыл дверь в папину-мамину спальню, наскоро постелил себе и — под одеяло. Читать при свете уличного фонаря, светившего прямо в мое окно.

Среди ночи звонок в парадную дверь!

Впрыгиваю в брюки, выскакиваю в прихожую, чтобы повторный не поднял всех.

— Кто там? — спрашиваю.

— Это я, Боинька, Гавъилюк.

С Гаврилюком (домоуправом) двое посторонних. Один за другим, без «здрасьте», мимо меня из прихожей — в столовую сразу. Я — за ними, Гаврилюк — за мной.

Велят включить свет, разбудить домашних.

— Будет произведен обыск.

Обыск так обыск. Чего искать-то?

Приоткрываю дверь спальни: и папа и мама уже на ногах. Папа торопливо старается застегнуть свою железнодорожную тужурку; мама волосы зашпиливает, рассыпающиеся у нее под руками; сонная сестренка, не догадываясь, как и я, что стряслось, натягивает свитер.

Незваные-нежданные тем временем, скинув на спинки стульев плащи, оставшись в гимнастерках, портупеях, стояли посреди комнаты у обеденного стола.

Вышел к ним папа другим, чем был в спальне. Казалось бы, независимым, не будь излишне подтянут.

С ним поздоровались, вручили бумагу. Подождали, пока читал, а читал долго.

Предложили присесть куда-нибудь:

— На диван вот хотя бы. И вы, мамаша с девочкой, тоже.

Маме походя:

— А скатерку убрать бы со стола, книжки будем класть — испачкаем.

Она не слышит, на ней лица нет (двоих братьев уже взяли). Убрал скатерть папа.

И обыск начался.

Один прошел к голландке, заглянул, другой — к пианино, раскрыв его струнное нутро. Потом оба — в четыре руки — принялись за ящики письменного стола. Выдвинули, переворошили. Так и оставили.

— Теперь я на кухню, а ты приступай к книжным стеллажам.

Принцип отбора — какие обратно на свое место, а какие на стол мне, надписывать: «Изъято при обыске, дата» — я не сразу уразумел. Державин и «Как закалялась сталь» — помню — Маяковский и Бабель (правда, запрещенный тогда).

Оказалось — не книжки изымали, пометки на книжках.

Вернувшийся с кухни подошел к столу, принялся просматривать изъятое.

У папы погасла папироса и кончились спички. Я поднялся было принести ему, меня одернули:

— Куда?

Мне это не понравилось, щелкоперу. Потянуло задраться. И на последовавший вопрос, нет ли у меня Лебедева-Кумача, я ядовито осведомился:

— А Джамбул не устроил бы?

Лебедева-Кумача, как ни искали, не нашли. Однако (на допросе уже) фотоснимками с его страниц в моих пометках следователь станет трясти перед моим носом как уликой против меня. Это школьный дружок, значит, заложил меня, что через несколько лет будет «убит подо Ржевом».

Когда обыск закончился, уже светало.

За окнами гуднула машина, вызванная по нашему телефону (6–75). Без спроса, конечно. Да и какой же может быть спрос, если — не они у нас, а мы — у них. И где бы мы ни бы-

ли — мы у них. Но я этого не знал еще тогда.

— Собирайтесь, Борис Яковлевич.

(По имени-отчеству меня впервые!)

Все поднялись. Мама засуетилась — что можно дать мне с собой.

— Смену белья можно?

Помню губами мамины намертво сжатые губы; папины помню глаза, умолявшие *им* не дерзить; и напряженной сестренки в руках моих цепкие пальцы.

В те минуты я не сомневался, что увозят меня из дома ненадолго.

А меня увозили — из юности и навсегда.

* * *

Зато у меня было две юности!

Одна — юность как юность, при папе, при маме и знай себе распевала «о Сталине мудром, родном и любимом». Другая — при жене, при детях уже, а все равно, да еще какая!

Если в первой несбыточные мечтания кружили голову, то во второй сбывалось, о чем и мечтать не могли. Гоголем ходили! Жизнь праздновали! Рождество Хрущево!

Нынешний читатель, загляни он случаем в «Оттепель» ли, в «Рычаги» ли, или в «Не хлебом единым», плечами только пожмет: с чего было на седьмом небе парить?

И поди растолкуй ты ему, нынешнему читателю, как для нас не то что «Не хлебом единым», но статья «Об искренности в литературе» потрясением основ прогремела.

А уж стихов-то, стихов хлынуло!

Я, в ту пору только-только выехавший после лагеря с северо-уральского поселения в Ярославль, земли под собой не чуял.

Едва ли не каждое воскресенье, как ярославцы в лес по грибы, в Москву по стихи мотался.

Первой электричкой — туда, последней — обратно.

И вот эпизод.

Присоветовали мне сунуться к сотруднику Дома-музея Маяковского, к некоему Шилову, Льву Алексеевичу.

— Ну и что ж, что в глаза не видели, с ним вы сразу общий язык найдете.

И действительно.

С первых же слов Лев Алексеевич мне:

— Пожалуйста, о чем речь, только у меня... — и, прервавшись на полуслове: — Знаете что! В вестибюле сейчас мальчик у доски объявлений. Вот у кого уйма Цветаевой, если он здесь еще.

Сбегаю по лестнице в вестибюль. Стоит!

Чубастенький, ушастенький мышонок, шейка из свитера, как мизинчик. Расписание мероприятий переписывает себе в блокнотик.

— Простите, пожалуйста. Охота пуще неволи, я в поисках Цветаевой.

— А что именно вас интересует?

— Все! Кроме публиковавшегося у нас.

— Все? — удивился мышонок. — А как у вас со временем? Я живу недалеко отсюда. И поговорим по дороге. Давайте познакомимся. Меня зовут Гаррик.

Прошу обождать минутку, поднимаюсь на второй этаж ко Льву Алексеевичу поблагодарить его. Он приглашает меня на вечер «молодого поэта Окуджавы, стихи под гитару». Благодарю его еще раз (а сам: «Под гитару?! Обойдусь»).

Выходим с Гарриком из музея. Я ему — о себе, он мне — о себе.

Окончил десятилетку. Никакие вузы на дух ему не нужны. Самообразовываться будет. Устроится сторожем или на вешалку и будет самообразовываться. Дома из-за этого тарарам.

— Да, кстати, ни мамы, ни сестры нет сейчас, тетя одна, а она ненормальная. Не обращайте на нее внимания.

Подходим к дому. Три ступеньки вниз, полуподвальное, среди бела дня при лампочке помещение, приспособленное под кухню.

В тот же миг, как мы вошли, приоткрылась противоположная входной дверь, и

на нас высунулись раскаленные гневом глаза.

— Где тебя носит?! Ты же ушел — девяти не было, а теперь? — и, зыркнув на меня: — Находишь себе компанию.

— Пре-кра-ти! — огрызается Гаррик. — Постороннего постеснялась бы хоть. — А ко мне: — Проходите, проходите.

Скрепя сердце прохожу.

Комната — сосиска. За окном на уровне с подоконником — тротуар: ноги прохожих, автомобильные выхлопы в форточку.

Дворницкой бы здесь быть, метлы, лопаты хранить, а не белоснежным застеленные постели. Одна из которых под серым солдатским одеялом. И над ней в головах метровый фотопортрет Цветаевой. А на одеяле книжки. «Мы» Замятина, что-то Милюкова об интеллигенции.

Гаррик откидывает край одеяла. Тащит чемодан с полуоторванной крышкой, переполненный машинописными текстами.

— Вот. Одна Цветаева. А меня кормить сейчас будут.

Кастрюля уже на столе, суп в тарелке, тетя нарезает хлеб.

— Садись иди. Посмотри, на кого ты похож стал!

Гаррик молча садится. Молчит и тетя.

И надо же было раздаться телефонному звонку. Дожевывая кусок, Гаррик вскакивает, снимает трубку.

— Я. Здравствуй. Конечно! Нет-нет, я сейчас же! — кричит Гаррик.

— Через мой труп! — кричит тетя, вскочив из-за стола.

— Я же туда-обратно! У меня же гость! — кричит Гаррик.

Кончается тем, что он выхлебывает суп чуть ли не через край и, схватив куртку — в дверь.

Я остаюсь заложником.

Делаю вид, что уткнулся в чтение. Вдруг от стола слабым голосом:

— Вы, я вижу, интеллигентный человек. Вы меня извините. Гаррик — наше несчастье. А началось с реабилитации отца, судьбу которого от него скрывали. Годы-то, вы же знаете, какие были.

И подходит, подсаживается ко мне.

— Говоря откровенно, где гарантия, что не повернут обратно? Сегодня Хрущев, а завтра? Опять головорез какой-нибудь. Почему нет? А Гарьке хоть кол на голове теши! Поговорите с ним. К вам, я вижу...

Прервал нас вернувшийся Гаррик. Он скинул куртку, вытащил из-под свитера пухлую папку.

— «Доктор Живаго». Четвертый экземпляр на три дня дали. Глаза сточишь.

И пошел к двери за чем-то. Но задержался:

— А у кого останавливаетесь в Москве?

— У Ходасевич, Анны Ивановны.

Встрепенулся:

— Да? Того самого Ходасевича?

— Того самого.

— Очень старенькая?

— Я бы не сказал. Во всяком случае, совсем без старушечьей постности.

— А можно с ней познакомиться?

— Только сегодня если, до вечера. Вечером уезжаю.

— Ах, черт, а у меня «Живаго». Сейчас подумаем.

И вышел.

Воспользовавшись минутой, тетя мне:

— Поговорите с ним. Вас он может послушаться. Я вас очень прошу.

—

Знала бы тетя, что Гарька ее ни в сторожа, ни на вешалку не пойдет. Поступит! И не куда-нибудь, а в Тарту, на филфак, к Лотману. Но и Лотман не убережет его. С последнего курса исключат. А «интеллигентный человек» ахнет только, услыхав по Би-би-си, что в Москве арестован Габриэль Суперфин.

* * *

Наезжая в Москву, останавливался чаще всего у Анны Ивановны Ходасевич. В ее домике-гномике на Смоленском бульваре.

Пряменькая, со старательно уложенной прической, в маркизетовой с бабушкиным рукавом и высоким воротничком блузке. Старушечьей постности в ней и тени не было.

Бунину за то, что он «чмокнул ее в коридоре, как горняшку», простить не могла.

О Берберовой: «Владя говорил, что она без спереди и без сзади, а сам улизнул с ней от меня. Уже из-за границы написал: „Мы расстались с тобой в быте, но не в бытии"».

А из стихов Берберовой напомнила две строчки: «Я немножечко раскосая, сразу на двоих гляжу».

Стихи и сама писала. И Владислав Фелицианович «одобрял иногда, но чаще журил». Особенно за глагольные рифмы. Однажды Анна Ивановна сослалась на Пушкина. Он засмеялся. «Пу-

шкину можно, даже мне можно, а тебе никак нельзя».

О Пастернаке. Встретила его после войны в трамвае: «Анна Ивановна, голубушка, да вы еще живы!»

В последний раз застал я ее читающей «Новый мир», лежа на кушеточке. Ей уже и сидеть трудно было. Прирабатывать к мизерной пенсии распечатыванием «Европейской ночи» не могла уже.

«Видеть вижу, — говорила, читая в двух парах очков, — а держать книжку руки устают».

Рассказывая, как нарасхват шли ее отпечатки, заметила: «Вышло так, что и в быте мне Владя помогал, не расстались».

* * *

О чем ты, дружище, о каком там «впроголодь» моем! На все мне хватает.

Не хватает нам, наоборот, когда мы много имеем. Тогда — да, на что-нибудь да не хватает все равно, не на то, так на другое.

А когда в обрез, на все хватает.

Тем более — мне.

Я ведь и теперь гляну иной раз в столовке на подносы с нарезанным горой хлебом и подивлюсь: какие при этом скучные лица вокруг.

Уходя из семьи, соглашаясь платить за комнату ползарплаты в месяц, долго не размышлял. Чего там, если в любую булочную зайди — 14 копеек буханка, а у меня на день полтора рубля будет. Десять буханок могу!

И это притом, что мне не на каменном карьере кайлом вкалывать, а в дежурке у телефона сидеть. И то не каждый день, но сутки через трое.

И ждать меня будет не промозглый барак, голые нары, а солнечная комната, мягкая постель, книги на столе.

Чего мне еще.

* * *

На лютом зимнем разводе было, затемно еще. Когда бригады вдоль всей зоны кучкуются одна за другой до освещенной прожекторами вахты, да нарядчики рыщут по баракам, вышибая замешкавшихся доходяг. А ветрище снегом сыпучим, как рашпилем, дерет рожу.

Мне, коломенской версте, и не пригнуться ни за чью спину — щеки задубеневают, ресницы смерзаются.

Вдруг слышу:

— Леха, Янкольский в твоей бригаде? Давай его сюда.

Оборачиваюсь: возле бригадира однорукий стоит с высоко подвязанным рукавом. Выхожу:

— Чего это, куда? — спрашиваю.

— Ты, что ли? Печенья перебирать. Пошли. Воши есть?

И ведет, приводит в баню.

— Шмутье в прожарку кинь, мыло из шайки зачерпнешь, а я за исподним схожу и одевкой.

Моюсь в недоумении.

После помывки напяливаю на мокрые мослы рубаху — рукава до локтей, штанины подштанников надрывать приходится, чтобы отечные ноги просунуть — и, затолкав их в тряпочные бурки, надев бушлат, выхожу, подхваченный ветрюгой, того гляди снесет, иду за одноруким куда-то, не пойму куда.

Оказывается — в стационар. Что такое?

В теплынь, в чистоту, да не на нары у входа, а в самый передний угол, на топчан, к стеночке, между дверью в дежурку и окном. Матрас, подушка, одеялко. Даже простыня.

Пригревшись, засыпаю мгновенно. День, да мой.

Разбудил голос над ухом:

— Сынок, слышь, сынок, поешь-ка. Сон не сбежит, а супец простынет.

Продираю глаза: посреди барака столпились ходячие больные возле раздатчика, стоят в молитвенной тишине. А среди их застиранных рубах белоснежный халат, накинутый на отутюженный костюм, наблюдает. Начальник санчасти, что ли?

— Кто этот вольняшка? — спрашиваю.

— Такой же вольняшка, как мы с тобой, — шепчет. — Врач стационара это, Тегеран Герасимович.

— А с какого этапа он, не знаешь?

«Не с Балашовского ли?» — думаю.

Балашовская пересылка — бывшая церковь, приспособленная лесом нар, бочками параш под битком набитую арестантами камеру; я в ней стихами наизусть время коротал. «Громче давай!» — кричали.

Кормежка тем временем закончилась. Тегеран Герасимович направляется, грузно ступая, в дежурку к себе и мельком, но пристально взглядывает на меня... Может, спрошу как-нибудь, не с Балашовского ли он этапа.

Спросить не вышло: посторонних разговоров с больными не поддерживает напрочь.

А я уже больше месяца здесь кантуюсь. И отоспался, и отеки опали. Вот-вот выпишут в бригаду опять. Что ни обход — поджилки трясутся.

И дотряслись однажды. Из приоткрывшейся двери дежурки Тегеран Герасимович:

— Ямпольский, зайдите ко мне. Присаживайтесь, — рукой на табуретку у стола. — Дело вот какого рода: на неделе комиссовка. Хочу лекпомом оставить вас — вы как к этому? Придется жаловаться на сердце, на загрудные боли.

Опешив от неожиданности, чуть не заикаюсь:

— Кому я обязан за все за это?

— Как-как вы сказали? «В борьбе за это»?

И, поколебавшись, выдвигает ящик стола, достает, кладет передо мной зашарпанную огоньковскую книжонку. «Зеленую Шинель» Бориса Ямпольского.

Я оторопел, у меня язык присох.

— Вы чем-то озадачены?

— Это... Это не я.

— Не вы? — его брови поползли на лоб. — Как не вы?! Федот, да не тот!

И расхохотался.

— Переживем! Будем считать вас его протеже.

—

Каким фантастически счастливым был для меня этот день! И разве только этот? А вы говорите...

* * *

На полого-высоченном берегу реки Турьи Северного Урала церковка кладбищенская крестом под самые облака.

А поодаль от той церковки — тут-там, по зеленому белые — козы на выпасе. И стародавний городишко между небом и землей, спускающийся по склону к дороге невесть откуда и куда.

А за той дорогой, опять же по склону, в низину, к железнодорожной ветке — станция Шахта Медная этого самого городка, стремящегося к небу и не удостоенного переименованием. Как был Богословск, так и остался Богословском.

А за Богословском-то вот, километрах в десяти, в лесах, как шило в мешке, отхожее место облюбовала себе наша великая держава. Куда гнали и гнали эшелон за эшелоном сперва раскулаченных из сытых изб в голодные землянки; потом — заключенных на лесоповалы; потом — военнопленных на новостройку. И, наконец — нас, отсидевших срока наказания в окрестных лагерях.

—

Тогда-то и прибыл сюда обеспеченный ржавой селедкой да буханкой хлеба, а по сути — «раной и справкой», уже пожилой ленинградец, когда-то молодой петербуржец, Александр Константинович Мартенс.

А за ним — я, его многолетний лагерный сподвижник. «Раньше сядешь — раньше выйдешь», если выйдешь...

Ютился Александр Константинович, внештатный сотрудник стройуправления, в окраинной избенке, которую как с вечера ни натопи, к утру в рукомойнике — лед. Ни побриться, ни умыться.

— Но это ли беда, Борис. Это даже лучше в известном смысле. Утром не проспишь. Умываюсь снежком с крыльца, бреюсь по вечерам. А с первой получки на Диккенса раскошелился — тут магазинчик есть! — и кружку пива хватил; пришел, растопил печку, не раздеваясь, и с кружки-то пива уснул, привалясь к стенке с Диккенсом в руках.

Но это на первых порах нашей воли. Я тогда со своей школьно-лагерной ква-

лификацией по части живописи не рискнул соваться не только в Дом культуры угольщиков, но и в кинотеатр «Красный горняк». Подался на Волчанку, где, говорили, и нога богомаза не ступала. А княжил Гогия. «В Москве — Сталин, на Волчанке — Гогия!»

Года не прошло, я уже художничаю в ДКУ, Александр Константинович — штатный бухгалтер треста.

Спешу на обед. Он — навстречу. Тонкий-звонкий, своей летящей походкой. Улыбается чему-то своему.

Это на главной улице. А улиц здесь несколько, и чуть ли не каждая упирается в тайгу, за которой нам мерещится тундра, собаки в упряжках.

— Александр Константинович, здравствуйте.

Очнулся:

— О, здравствуйте, Борис.

— Чему это вы — так? Если не секрет.

— Тому, что мне чертовски везет всетаки! Ну сами посудите. Не арестовали бы меня перед войной, не пережить бы мне блокады; а сослали бы после отсидки в кишлаковские края куда-нибудь —

на сколько бы меня хватило? Я уж не говорю о явлении мне Марии Николаевны с Кирушей — что бы я один? И вдруг: семья, дом, жизнь.

Они вчера двухкомнатную с кухней получили. Замок менял, по пальцу себе угодил: потому как в руках не держал ни шиша, кроме карандаша.

Александр Константинович, давний друг семьи, и в лагере нет-нет да получал от Марии Николаевны коротенькое письмецо: мол, живы, здоровы, того и тебе желаем. А тут у нее, овдовевшей, сестра умерла неподалеку от наших мест. К осиротевшей девчурке — племяннице — Мария Николаевна и приехала. Как было не повидать и его, очухавшегося однажды в переполненном лагерном морге (уже с биркой на ноге)?

Сколько-то дней прогостила у него. А после ее отъезда Александр Константинович обнаружил у себя под подушкой письмо...

Взволнованный, говорит мне:

— Как вы думаете, Борис, допустимо ли, чтобы женщина оставила Ленинград

и сына-студента ради ссыльной дыры?.. Брать на себя такое.

— Трудно сказать, — я закурил, — на этом месте кто не ошибался. Лотерея. Но: «Не город Рим велик среди веков, А место человека во вселенной».

Обаятельная, на все руки мастер, Мария Николаевна создает при ДКУ кукольный театр. Сама и куклодел, и сценарист, и режиссер. Успех ее театра и у ребят, и у начальственных деток укорачивает квартирные хлопоты.

Общежитскую мебель — железные койки, круглый стол, стулья — дает ДКУ. Домашнее тепло Мария Николаевна в чемодане привозит — скатерть, скатерку на тумбочку под проигрыватель с долгоиграющими пластинками, настенное блюдо в нарисованных ее рукой маках, фотографии предков под узорными рамочками, пейзажик Италии. Словом, дом как дом, даже не всякий. Я еще забыл о его душе — о самодельном абажуре над столом.

Единственное, чего долго не хватало, это стеллажа.

—

Книги покупались и покупались, а куда их?

— Что уж вы, Александр Константинович! Стройка же под боком. Сторож за пол-литра сам вам и натаскает напиленные, обструганные. Протравим и сколотим сами.

Посмеивается, качая головой:

— Нет уж, я как-нибудь иначе.

— Не советский вы человек, вот что я вам скажу!

— Что да, то да. Насчет советскости вы правы.

Мария Николаевна улыбается молча.

И только когда я предложил ему свой, себе побольше сварганив, он ожил... Правда, фолианты не умещались. Пришлось на верхотуру плашмя поселять, а понадобится какой, вставать на стул и осторожненько, плашмя же, к форточке нести сдуть, следя, чтобы не на голову кому: прохожие не знают ведь, что:

— Книжная пыль убивает палочки Коха.

С книгами у нас каких только волнений не перебывало! Однажды Фиса

шепнула Александру Константиновичу о подписке на четырехтомник Аксакова:

— Если нужен, пораньше приходите: два экземпляра всего.

Мы запаниковали. Решили к шести утра пойти, а морозище стоял несусветный. Натянули на себя все, что было в доме, и двинулись. Приближаясь, вглядываемся под фонарный столб у крыльца магазинчика — не опередил ли кто? И затопали взад-вперед под фонарем. То карикатурно вытягиваясь и вытягиваясь по поземке, то сокращаясь до кляксы под ногами. И уже насквозь, кажется, закоченевая. Стало развидняться. Наконец, Фиса, видим, идет.

— Смотри-ка ты, первые, оба первые!

Клацаем зубами:

— Не первые — единственные!

— И давно это вы?

— С шести.

— А, батюшки! — и торопится отпереть замок.

Александр Константинович:

— Как там у вашего Слуцкого? «Он мог лежать с женой, в своей постели,

он мог... да мог ли? Будто! Неужели? Нет! Он не мог!»

Фиса смеется. Раскрывает дверь:

— Идите-ка, идите. Сейчас печку затоплю.

— Какая там печка. Мне на работе уже надо быть. А минута в минуту — вежливость королей.

— Бедный Александр Константинович. Все на королей оглядывается. То ли дело — на начальство, которое, как известно, никогда не опаздывает — задерживается. У начальника треста проторчал, скажу, в секретарской, пока он разнарядку проводил по селектору.

Сижу, покуриваю перед секретаршей.

— Бахшалеев, — слышу, — ты сколько на вчерашний день дал?

— Сто восемь.

— Ставь шагающий на ремонт.

— Он у меня только что с ремонта.

— А я тебе ставь говорю, твою мать!..

— Есть ставить.

— Чего это он, — спрашиваю у секретарши, — ему «только что с ремонта», а он «ставь»?!

— Управляющий о плане треста печется, ему и до премии чтобы было, и не перебрать. Иначе в следующем квартале задушат. Регулирует.

— Интересно, — говорю, — так, значит, планируют, что нельзя не регулировать, и так регулируют, что бесполезно планировать. Или как? Не пойму что-то.

— Да что тут не понять.

Рассказываю Александру Константиновичу. Он слушает меня со скорбной полуулыбкой и говорит:

— Не горячитесь, Борис. Государство делает, что ему надо. Скажите лучше: вы не помните автора «Дней Турбиных», куда делся? И Эрдман как в воду канул.

—

Человек со светлыми на жизнь глазами, он сослуживцу своему, позволившему себе под мухой подмигнуть моей жене, отказал от дома.

—

Несколько дней как-то я не заглядывал к ним, погрязнув в халтурах. Стучусь.

Бобка с лаем кидается на дверь, и Кирушин голос:

— Да замолчи ты! — и возня, оттаскивает его, понимаю, — сейчас.

— О! Проходите... Тетя Муся! Дядя Асинкрит (его домашняя этикетка: «Несравненный» по-гречески)! Пропащий явился. Раздевайтесь.

С кухни выходит раскрасневшаяся от плиты Мария Николаевна:

— Здравствуйте. А мы знали, что вы придете: пила падала.

Медленно отходит дверь в комнату. Александр Константинович — величественно, с простертой вперед дланью:

— Борис, Борис! Все пред тобой трепещет!

И, чуть смущенный своей ребяческой выходкой, подает — с наклоном, каблук к каблуку — руку:

— А я тут Маршака с подстрочником Шекспира сличаю.

— Прости, Асинкритушка, у меня все сгорит.

И ко мне:

— Что это у вас?

— Ингер Хагеруп.

— Без меня не читать. Отужинаем — тогда.

Александр Константинович сияет: ему ни до какой не до Хагеруп. Мария Николаевна — на кухню, он меня под локоток, как за шиворот, и — к столу.

— Вот, например. Где у Маршака «злые черные очи», или как там, у Шекспира — «взбунтовавшиеся негры»! Или...

Но Кируша уже накрывает на стол. Тащит тарелки, вилки, остатки повидла, Мария Николаевна — блюдо блинов. За ужином нас пятеро, пятый Бобка. Его башка на уровне столешницы, глаза на блинах. Потом будем пить чай. Но чаем, если без молока, Бобка не интересуется. Это нам и блины разговору не помеха.

Или Александр Константинович хвастается своим главбухом, какой тот меломан: взял в руки «Евгения Онегина» и удивился: «Роман? Так это же опера!»

Или я — Розалией Львовной, ринувшейся ко мне в толкучке книжного привоза, и шепотом: «Как имя писательницы, похожее на Джон по-английски, а

еще больше на яички по-еврейски?» — «Не Джейн Эйр?» — говорю. Схватила меня за руку: «Зай гезунд!», — и к прилавку.

А блины тем временем съедены. Уже и со стола убрано и клеенка вытерта сухо-насухо. Мария Николаевна приносит, раскладывает свое кукольное хозяйство, протирает очки, усаживается поудобней:

— Ну, соловей-соловушка, давайте вашу Хагеруп... Ой, Асинкритушка, ножницы забыла, будь добр.

— А где они, Мусенька?

И грянул Божий глас! Хрущевская реабилитация. Шампанское. Суета. Заявление на расчет. Сборы.

Потом письма из Ленинграда в Саратов, из Саратова в Ленинград. Годы поездок, встреч. И в городе, и на даче.

Вдруг — глазам своим не верю: «писем больше не надо». И — все.

До телеграммы от Марии Николаевны: «Асинкритушка умер». На похороны душа не пустила.

Спустя годы приехал к запертым дверям. О Марии Николаевне с Кирой у вдовы Генриха Готлибовича, третьего мушкетера нашего, узнал.

Сошел в Ольгино с электрички, когда густо смеркалось. В пустынной дачной тишине, в стороне от дороги, на скамейке под елями увидел Марию Николаевну. Увидела и она меня. Поднимается, идет навстречу:

— Седенький наш, седенький. Я знала, что вы приедете.

Обнялись. Сели. Смотрим друг на друга.

— Ну, вот, — говорит, в смысле: вот и спета наша песенка. — А умер Асинкритушка легко. Последний год уже не ходил почти. С палочкой стеснялся, пока кто-то не сказал, что ему даже идет. И сам над собой смеялся. Но становился все щепетильней, все обидчивей. Генриха за то, что тот не пришел, когда его ждали, отчитал по телефону и бросил трубку. Я ему потом: «Ну, что уж ты, Асинкритушка, такие годы прошли вместе». Согласился: «Да, — говорит, — зря я так, надо будет позвонить ему».

Да так и не позвонил. Знаете ведь его, на попятный не любил. Пересолю, да выхлебаю. А последний день сидел в кресле, я ему читала. Из журнала что-то. Не понравилось. «Давай, — говорит, — лучше Шоу опять». «Давай, — говорю, — только прежде суп пойду заправлю, а ты отдохни». И помогла с кресла на диван перебраться. С кухни заходила к нему, он не спал. Раз подозвал меня, взял мою руку, смотрит в глаза, а в глазах много чего...

Мария Николаевна замолкла, будто глядя в тот взгляд его...

— Так вот. И спрашиваю зачем-то: «Чего ты? Соснул бы лучше». Не возразил. Пяти минут не прошло, прихожу, а Асинкритушки нашего и нет больше.

—

Теперь нет больше и Марии Николаевны.

* * *

В тот незабываемый день с утра пораньше я уже был у себя в мастерской. Трехметровый портрет домалевывал к приходу приемной комиссии.

Распахивается дверь. Входит Николай Васильевич Широков — худрук Дома культуры угольщиков, ссыльный тоже. Вальяжно, руки в брюки. С ухмылочкой взглядывает на меня.

Откидывается в кресле, нога на ногу. Закуривает. Взглядывает на портрет под моей кистью, опять на меня, опять — на портрет.

— Что это вы, милейший? — спрашиваю.

Как не слышит.

— Окаймляйте черненьким, — говорит, — черненьким окаймляйте.

— То есть? — ошарашен я.

— Великий кормчий дуба врезал.

— Что за шутки?! — недоумеваю.

— Какие могут быть шутки?

И поднимается лениво, включает над собой репродуктор.

Музыка, музыка... Потом: «...дыхание Чейн-Стокса...»

Насладившись моей обалделостью, комментирует:

— Это залепуха, про дыхание. Дыши бы он еще, не стали бы нарушать нашего беспросветного счастья.

И идет к двери. Уже с порога:

— Я в гастроном. Не составите компанию?

Отмахиваюсь.

Бросаю кисти и... как это бывает, когда, идя по ходу поезда, мчишься не спеша, не спеша мчусь к закадычному однобаланднику своему. Соображая на ходу, что радоваться преждевременно. Чем обернется, один Бог знает.

Но радость так и прет из меня! То есть нет, не радость. Вернее сказать: какое-то возносящее до небес волнение.

* * *

Встретились мы с ней, с Ниной Николаевной Шубиной, в «Берлине», на территории зоны уже репатриированных военнопленных немцев, в их столовой, приспособленной теперь под Клуб строителей для наших трудящихся.

Лет нам было: мне — за тридцать сколько-то, ей и того меньше.

Словом, между нами завязался отчаянный роман. Из которого, вместо того, чтобы вступить в очередной брак, вступили, слава Богу, в пожизненную переписку.

—

Пишу тебе, Ниночка, возлежа во всю свою макаронью мощь на раскаленной гальке сочинского пляжа, заслоняя блокнотный папирус от солнца башкой.

Прилетел сюда вчера.

Первое впечатление: экскурсовод — экскурсникам: «Теперь наш маршрут к даче Иосифа Виссарионовича, куда Никитка приехал премьером, а уехал пенсионером».

И много их тут, вдохновенных холуев?

Вспомнил Новодевичье, могилу Никитушки под крашеными яйцами (на Пасху угодил) и чей-то тихий вопрос к проходившей чернорабочей:

— Куда вы поминальные-то яйца потом?

— Который раз убираем — несут и несут.

Посылаю тебе свой сочинский адрес. Пишу-спешу, пока ты в Крыму — не со своего и не на твой — соглядатая-то и избежим, глядишь.

Твой Б.

P. S. Как себя чувствую, спрашиваешь? — Вставил зубы, и — я снова жизни полн, таков мой организм!

—

Ты требуешь примеров (к разговору о *форме и содержании*)?

Изволь. Простейшие.

Слуцкий:

...Я врос в асфальт. Сперва едва живой,
Но постепенно — плечами, головой
Приподнимал, покуда не приподнял,

Покуда не пробился сквозь препоны,
Покуда не проклюнулся, пока
Не протолкался, ободрав бока
Зеленые...

Тут о долготерпении — долгой (в пять с половиной строк) фразой. Увесистыми, накатывающимися друг на друга глаголами («приподнимал», «приподнял», «проклюнулся», «протолкался») с четырежды повторяющимися «покуда», «пока» с их п-к-д, п-к. Словом, так написано, что, прочтя, впору пот со лба стереть — вот КАК написано.

Цветаева:

Пунш и полночь. Пунш — и Пушкин.
Пунш и пепельная трубка
Пышущая...

Все стихотворение на вспыхивающих «пу», «по», «пы» и фразами кратчайшими, легчайшими, как пух из уст Эола.

И на цыпочках — как пери! —
Пируэтом — привиденьем —
Выпорхнула. — Пунш и полночь.
Вновь впорхнула: «Что за память!
Позабыла опахало!»

И это порхание, эта летящесть до тех пор, пока Психея не добежала, где замирает; и замиранье дано — на выдохе уже! — из последних сил одной фразой:

...и пепла
Ниспаданье на персидский
Палевый халат — и платья
Бального пустая пена
В пыльном зеркале...

Убери мысленно главное для меня — КАК, и главное для тебя — ЧТО превратится в ничто.

—

«Счастливый ты человек: во всем радость усматриваешь. Как тебе это удается?» — пишешь. А у меня железа такая есть, вырабатывающая фермент жизнерадостности.

Какое у меня ни дурное настроение, как кошки на душе ни скребут, а входя в дом — улыбаюсь, и вскоре — как ни в чем не бывало. Попробуй вот. ПрИторись, и прЕтворишься.

—

Дорогой Боря!

В 22 часа вынесли на носилках покрытое пододеяльником то, что было моей мамой. На двери от железных носилок осталась ссадина. Я одна знаю, что это за ссадина, и каждый раз, проходя мимо, вижу ее...

Пиши. Очень надеюсь на твои письма.

Твоя Н.

5 Зак. 26

* * *

Я жизнь прожил карманным фонариком тому-другому во тьме нашей тьмущей.

* * *

О его смерти — «Только что, ночью сегодня!» — я узнал случайно. От сослуживца, придя на работу. Он — по Би-би-си. Наше радио о смерти поэта молчало, молчала и наша пресса. Единственное уведомление в «Литературке», величиной с трамвайный билетик, от имени Литфонда, не более того, появилось в день похорон только.

Беру трехдневный отпуск, еду в Москву.

Останавливаюсь у Анны Ивановны Ходасевич. Узнаю, что поэт тяжело болел, что уже из небытия возвращали переливанием крови, что, придя в себя, подосадовал: «Зачем вы меня вернули? Я уже был *там*, и мне было хорошо». Что хоронить будут в Переделкино, на сельском кладбище, завтра, 2-го июня.

—

И вот мое 2-е июня.

Легли накануне за полночь. Просил разбудить пораньше, а проснулся сам ни свет ни заря. Сунул в карман пачку

«Беломора». Захватил плащ на руку (май приучил не доверять утреннему солнцу) и заспешил на Киевский вокзал.

Ехал электричкой в пустом вагоне. Резанула безучастностью и станция Переделкино. На перронной скамейке парень в красной майке дремал, ожидая, видимо, киоскершу. Та ящики с пивом принимала от возчика.

Со станции, как учили, свернул направо, но вместо писательских дач вышел к церкви. Никаких дач и в помине не было. Кладбище было. Редкие могилы между редкими соснами спускались с косогора к зеленому полю, за которым возвышался другой косогор с лесным массивом на хребте. Но на тот-то косогор и указал мне первый встречный:

— Во-о-он, красная крыша виднеется у края леса, со шпилем — это и есть дача его. Пересечете кладбище, спуститесь к мосту, а там прямиком вверх.

Был восьмой час утра, спешить мне было некуда, но ноги сами несли меня. Вдоль того леса, к которому я шел и вышел, тянулся сплошной штакетник, едва сдерживая натиск буйной зелени.

Дач за которой не разглядеть, распознаю по калиткам.

Калитка, еще калитка, распахнутые ворота, на столбике ворот жестянка: «Ул. Павленко, дача № 3».

В глубине двора — гараж. От ворот к гаражу — аллея: справа ели стеной, слева сад, весь в цвету. Самой дачи от ворот не видно, она за садом. Двухэтажная с закругленным остекленным выступом под шпилем, что был виден с кладбища. Спиной в темень соснового бора, фасадом на солнечную лужайку.

Окна первого этажа зашторены и... никаких признаков. «На даче спят...» Мир и покой. Я уж на попятный было. Откуда ни возьмись — бабка с тазом. В просторной пестрой кофте. Она и указала мне на крыльцо: вот сюда, мол, пожалуйста, проходите.

Теперь я увидел и трехлитровые банки с цветами на всех четырех столбиках крыльцовых перил. И — крышку гроба за ними на маленькой терраске. Неправдоподобно обыкновенную!

Не знаю, как скоро отважился бы я ступить на эти ступеньки, когда бы не

опаска известного подозрения... Дверь с тераски в коридорчик раскрыта. Пустая вешалка у двери, под ней в углу трость. И из коридорчика еще три двери, правая — настежь.

Посредине небольшой комнаты (одни стулья венские по стенам) на низком покрытом ковром помосте — гроб. Гордо закинутая седеющая голова и белые на черном руки.

Смотрю, смотрю и не могу постичь связи между этим вот телом в гробу и всем тем, что — среди ночи разбуди — наизусть прочту.

Потом начинаю узнавать.

Две женщины убирают гроб цветами. Одна седая с усиками, другая брюнетка лет тридцати. Женщины как женщины. Я не поклонился даже. Себя не помнил.

В головах — венки. На одном: «Борису Леонидовичу Пастернаку — Асмусы». За венками сервант, и на нем подсвечник с огарком свечи. «Свеча горела на столе, свеча горела...»

Миловидная брюнетка берет пару роз и прикладывает к седому виску; потом

взглянула со стороны и, слава Богу, убрала.

В комнату вошел мелкокурчавый шатен, не по годам располневший, с полуотсутствующим взглядом. Как будто ходил-бродил где-то и снова прибрел сюда. Седая сразу оставила цветы, взяла его под руку и увела. Мне — одному, постороннему — оставаться здесь стало неловко. Минуту-другую выждав, чтобы не следом за ними, я тоже вышел.

Они у крыльца на скамейке сидели. Она ему что-то говорила, говорила, а он, упершись локтями в колени, смотрел себе под ноги и, вряд ли слыша, о чем она, утвердительно кивал головой.

Я прошел дальше, сел на садовую скамейку, закурил.

Надо мной висели перекрученные, перекинутые через сук качели, потемневшие от времени. На лужайку вышел пес. Постоял, понюхал, тихо подошел ко мне, словно ища сочувствия.

В солнечной тишине сада шмель гудел.

От ворот к даче спешили трое: грузная особа в черном казакине и с ней двое молодых людей, тоже в черном, с

музыкальными инструментами в футлярах. Она семенила вразвалку, но так энергично, что можно было подумать, будто распалена чем-то, и кому-то достанется от нее сейчас. Боком-скоком преодолела четыре ступеньки и в дверь вошла, как снаряд в ствол. Молодые люди — робко следом.

Минут через десять дача, тягостно молчавшая до того, словно перевела дух — из окон в сад поплыло что-то свирельное, грустно-светлое, как горних ангелов полет.

Несколько пареньков появились, перешептываются поодаль. Седая, как лунь, женщина в белом с ниткой жемчуга на увядающей шее ходит, нервничая, вдоль терраски.

На мою скамейку подошли, присели двое мужчин. Один у другого:

— Будет ли, интересно, Паустовский? Он в Москве? Не знаете?

— Был в Тарусе.

— А вынос на четыре назначен?

— На четыре.

Оглядывается бросить окурок и шепчет:

— Виктор Борисович с женой.

Маленький плотный человечек с голым черепом, беретом в кулачке, и за ним, едва поспевая, остренькая женщина. Не успел я опомниться, они уже вошли в дачу.

На территорию двора мягко вползла черноникелевая машина с венком во всю крышу. «Уж не от Нобеля ли?» — мелькнуло в моей провинциальной голове. Оказалось: «Борису Леонидовичу Пастернаку — Корней Чуковский». Венок понесли в дачу. Машина, не разворачиваясь, задом ушла со двора.

Шкловские вышли. Теперь можно было войти и мне. Она задержалась на терраске с той, седой, в жемчуге. А он сошел с крыльца и опустился на скамейку. Сидит, моргая покрасневшими веками. Через некоторое время они еще раз побыли в доме и ушли совсем.

Рассиживаться мне было некстати: тянуло вобрать в себя, унести максимум этого дня.

В прихожке на вешалке уже висел чей-то плащ. Поколебавшись, свой тоже повесил. Хочу войти, но вижу: чуть ли не бегом (едва успел посторониться)

всклокоченный мужчина в защитного цвета курточке. Влетел мимо меня и замер в коридорчике перед раскрытой дверью. На скуле желвак прыгает, кулаки стиснуты — того гляди, закричит или не знаю что сделает. А он выкинул вперед руку:

— Данте!

И развернулся, выскочил на терраску. Припал к столбу, затрясся весь. Откуда-то взялся кто-то в пенсне. Обхватил его за плечи.

— Успокойтесь, товарищ. Ну, что вы, успокойтесь.

— Прос... тите... меня, — сквозь всхлипы тот, — я... проездом... Я... летчик... Всю войну провоевал... — он выхватил из нагрудного кармана сборничек, — с вот этой вот... книжкой его... А они, суки!.. хряки вонючие!.. Что с ним!

— Ну что вы, что вы. Не надо. Ну, мы вот, — взглянул на меня, — просим вас. И потом — помните? — «Тишина, ты лучшее из всего, что слышал».

Последний довод явился магическим. Достал пачку папирос, оказалась — пу-

стая. Скомкал, хотел бросить, спохватился и сунул в карман.

От ворот к даче приближалась импозантная пара.

Она — перманентная блондинка в черном, кроваво-красные тюльпаны в руках. Он — в сером от лучшего портного костюме с иголочки. Я не сразу узнал в нем Ливанова. До самого крыльца шли мало сказать вместе — воедино. А тут внутренне разъединились и поднимались на крыльцо каждый сам по себе. Прежде чем войти, он заглянул в дверь, как заглядывают в пропасть.

Я прислонился к косяку.

Стоял он таким отрешенным от всех и вся — среди людей один на один с покойным, — что всем не шелохнуться было, не кашлянуть. У меня затекла нога, но перенести тяжесть тела на другую я был гипнотически не в состоянии.

Эту магию нарушила самим приходом своим вошедшая из сада. Она положила цветы и опустилась на колени.

А следом худой, как штатив, молодой человек. Нервно перебирая пальцами, словно комкая что-то невидимое,

он склонился губами к руке и тут же отошел.

За ним — еще одна пожилая женщина в парусиновом пыльнике и соломенной шляпке ведерком. Тянется положить в ноги ландыши. Посланница того «сырого оврага»?

У меня перехватило глотку. Хочу выйти, оборачиваюсь, а коридорчик переполнен уже. Я, оказывается, в проходе торчу. Никто, однако, и касанием руки не попросил меня посторониться.

А там расступаются, вижу, теснятся друг к другу — дают проход. Кому же? Паустовскому. Дорогу, дорогу гасконцам!

Он вошел, я вышел.

За час-полтора народу набилось — полон двор.

Появились и корреспонденты. В основном иностранные, похоже.

Перевалило за полдень. Солнце пекло вовсю. Семи-восьмичасовое напряжение начало сказываться. Ноги отяжелели, во рту пересохло. Напиться бы да присесть где-нибудь. Но — где там! Слоняюсь, слышу обрывки разговоров.

— ...Лидин за границей. А Казакевич хотел быть, но у него сегодня ответственное совещание. Сможет ли?

— ...Ну что вы! Анна Андреевна в больнице. У нее же жуткий спондилоартроз...

— ...Это верно, что машины сюда задерживают?

— Милицию у моста я сама видела. Очевидно, так и есть.

— ...Рад вас видеть здесь.

— ...Кома Иванов? Ну как же! Он прилетел.

— ...Вы, кажется, искали Каверина? Так вот он.

—

Доступ к телу был прекращен. Это сразу разнеслось. Разговоры смолкли. Стали сходиться на линию от крыльца

до ворот. Ждут. Тишина. Застрекотали киноаппараты. Выносят.

В проход, над толпой, над головами, чуть покачиваясь — в последний путь. Его лицо обращено к небу. За ним, заполняя проход, толпа на глазах превращается в процессию, вытягивается из ворот. Сворачивает на дорогу вдоль штакетника.

Погребальный автобус, ожидавший у ворот, молча отвергнут. Понесут на плечах. Будут ежеминутно на ходу подменять друг друга. И не всем еще достанется.

Неправомерно коротким кажется мне этот последний путь. Еще нести и нести бы, вот так, над головами, трижды вокруг Москвы! А мы уже спустились к мосту и сворачиваем на кладбищенский косогор. Моим путем обратно, на то самое сельское кладбище.

Передние придерживают гроб на плечах, задние поднимают во всю длину рук. Процессия рассыпается и окружает открытую под тремя соснами могилу.

Я уже стиснут так, что платка из кармана не достать. То и дело запрокидываю голову, чтобы свежего воздуха глотнуть.

Напряженная тишина... Слышу, что начался уже траурный митинг, но слов от волнения не разберу. «Кто выступает?» — шепчет примостившийся с блокнотом у меня на спине паренек. И женский шепот: «Асмус, профессор МГУ».

Асмус говорит о человеке, который одинаково уважал труд плотника и труд музыканта. О невысокомерном художнике. О гражданине, что расходился не только с нашим правительством, но с правительствами всех времен и народов. Придя к концу жизни, Борис Леонидович отрицал всякое насилие и в этом был не прав. Однако и не соглашаясь с убеждениями Бориса Леонидовича, нельзя не уважать его убеждений.

Свою короткую речь Асмус закончил обращением к покойному: «Дорогой наш...». И предоставил слово чтецу Голубенцеву:

О, знал бы я, что так бывает,
Когда пускался на дебют,
Что строчки с кровью — убивают,
Нахлынут горлом и убьют!..

На этом, сославшись на нелюбовь поэта к многословью, хотели и «закончить митинг». Из заволновавшейся толпы потребовали слова. «Может, не стоит, товарищи?» — попытался сдержать Асмус. «Почему это?», «Пусть!», «Не регламентируйте там!» А к могиле протискивался уже вихрастый паренек. Он поднял руку, просит тишины. Читает, как камнями в кого-то:

...Я один! Все! тонет! в фарисействе!
Жизнь прожить — не поле перейти!

Раздались, а потом хлынули аплодисменты, выкрики. Запомнилось: «Да святится имя твое, творец!»

Отсюда все как в бреду пошло. Выступали, читали стихи. Сперва протискиваясь к могиле, потом с мест.

То прежний голос твой провидческий звучал, не тронутый распадом:

Прощай, лазурь преображенская
И золото второго Спаса,
Смягчи последней лаской женскою
Мне горечь рокового часа.

Прощайте, годы безвременщины.
Простимся, бездне унижений
Бросающая вызов женщина!
Я — поле твоего сраженья.

Прощай, размах крыла расправленный,
Полета вольное упорство,
И образ мира, в слове явленный,
И творчество, и чудотворство.

Застучали, как по пустому ящику, комья земли. Через головы стали бросать цветы. Зашуршали лопаты. Холм покрылся венками.

Когда я опомнился, густо смеркалось. Молодежь разводила костры. Я побрел на станцию. Ждала Анна Ивановна.

У меня, с утра не присевшего, ноги, спина — как не мои. Уже на перронной скамейке вспомнилось, что, когда ехал сюда, вроде бы что-то в руках было. Ну конечно — плащ, оставленный в прихожей дачи. Жена сказала бы: как ты голову еще там не оставил.

Подсел мужчина:

— С погребения?

— Нет, с вознесения.

* * *

В двух городах лишь — Праге и Саратове,
А почему — не понимаю сам,
Меня ценили, восхищались, ратовали,
И я был благодарен голосам,
Ко мне донесшимся из дальней дали...

Б. Слуцкий

Я вернулся в мой город с послелагерного поселения. Хожу-брожу который день по зеленым улицам давнего бывалого своего.

Вот она и школа наша. Тоська в глазах Татаринцев. Нет больше Тоськи. Смастерил себе чудо-ящичек (детекторным приемником назывался), полакомился пончиками с яблочным повидлом в школьном буфете и загремел на Финскую. Ни петлички, ни лычки с гимнастерки твоей.

А наискосок от школы, по Ленинской же, не доходя университета, тюремные корпуса за высоченной кирпичной стеной — одиночка моя. С пауком в углу над зарешеченным окошечком. Он то спу-

скался ко мне, то поднимался обратно, пока не повис однажды комочком.

Прошел и к букинистическому. Может, и букинист мой на том же месте, в своем старомодном пенсе с дужкой над переносицей и черным шнурочком за ухом. Встретит меня: «Вы ли это? Сколько лет, сколько зим!» Вот бы.

Вхожу. Как бы не так. Неказистый паренек за прилавком по грудь, нос пуговкой. Отпускает покупателей — одного, другого. Останавливается передо мной:

— Вас что интересует?

Застигнутый врасплох, называю, о ком тот и слыхом не слыхивал, конечно:

— Константина Леонтьева что-нибудь.

А он вскинул бровь и достает, протягивает мне открытку:

— Оставьте свой адрес. Чем черт не шутит. Попадется — извещу.

И что вы думаете, недели не прошло — известил.

А вскоре сидел у меня на кухне. Разговоров было — не переговорить...

Пройдут годы. Эйдельман скажет ему: «Что у вас за физиономия, Юрий

Леонардович! Хоть на Павла I снимай вас, хоть на батьку Махно».

Но это — когда пройдут годы. А пока, посиживающая у раскрытого окна, мама мне:

— Твой Юра идет на фоне собственного портфеля.

Портфель у Юры при его росточке действительно великанским выглядит, а мне пророчествует взгляду неоценимую награду...

Иду, открываю, входит:

— Приветствую вас, сэр! — и, перехватив мой взгляд на портфель, улыбается: — Не поглядывайте, не поглядывайте, покурим прежде.

Проходит, снимает на спинку стула свой пиджачишко, закуривает:

— Одноделец ваш заходил. Со списочком потребного ему. И у меня имелось кое-что под прилавком. Не дал! Никакого удовольствия. Возьмет, расплатится и будь здоров. Будто иначе и быть не могло. А на-кася вот, фигушки тебе!

Гасит сигаретку. Щурится, предвкушая удовольствие:

— Итак!.. — поднимает с пола на колени портфель, медленно открывает его, начинает извлекать; да не что попало, а по возрастающей, чтобы до поросячьего визга довести.

Сперва, скажем, «Записки» Вигеля. Батюшки-свет! Впервые вижу, какого же это года издание?!

За Вигелем — «Лекции по русской истории» Платонова. А, спасибо, Юра! У меня ведь был. Два дня. В такси забыл. Волосы на себе рвал!

За С. Ф. Платоновым — наглухо запретные, глазам своим не верю! — «Вехи».

А сияющий Юра:

— Еще не все, — говорит и жмурится, как кот на масло. Достает раздобытого для меня в Доме книги, где самому мне и захоти, не раздобыть бы в той толкотне, беготне от прилавка к кассе, от кассы к прилавку, аса-пикировщика своего Евтушёнку.

«ЕвТУШЁНКУ дают!»

И тут уж будьте любезны... пока Юра не начитается вам до отвала, не выдохнет:

— Все. Будя.

Вручит и добавит:

— Теперь бы чайком побаловаться. Если ничего посущественней не найдется.

В те приснопамятные времена я и познакомил моего стихочея со стихами «из стола» Слуцкого, а самого Слуцкого с моим стихочеем.

Воспитанник хвалынского детдома, мальчонка в гипсовом воротнике с книжкой под мышкой, а к моменту встречи нашей (через прилавок) — студент-заочник, проживал с бабушкой в Глебучевом овраге, в ее трухлявой халупе. До того трухлявой, что по весеннему половодью половички выжимать приходилось, выбрасывать на просушку. А фотокарточку мне подписывал: «От того, кому на Руси жить хорошо!»

Оно и впрямь было — дай Бог каждому. По крайней мере, пока не прищучили «за хранение и распространение», не выставили «у позорного столба» в областной газете и не выдворили «решением коллектива» с работы. Бодрился: «С Земли не столкнут!»

И утек в Подмосковье. (Я — в Петрозаводск.) «Зачем тратитесь на авиаконверты, — писал, — что авиа, что не авиа — один черт». «Не имей сто рублей!..» — веселился другой раз.

Очутился литсекретарем Слуцкого. Борис Абрамович — Тане: «Если ты уйдешь от меня, я женюсь на Юре Болдыреве и буду издавать в год по книжке!»

Шутки шутками, но служения своему поэту верой и правдой Юре было не занимать. И уже безвозвратно больной Борис Абрамович оставляет на него свой архив, весь итог жизни своей.

Умоляю вас Христа ради
Выбросом просящей руки:
Прочитайте мои тетради,
Расшифруйте черновики!

И прочитал, и расшифровал, и вымахал на белый свет *невиданного* Бориса Слуцкого в трех томах — тройкой, сам на облучке!

* * *

Уже в хрущевские времена обедаю как-то у мамы.

— Мам, а почему мы уехали тогда из Астрахани?

— А я помню?

— Как это не помнишь? Поездку в Анапу с няней помнишь, к дяде Саше помнишь, а этого не помнишь?!

— Ай, не морочь мне голову! — смутилась и поспешила на кухню.

Так и не сказала. И это, повторяю, уже в хрущевские времена.

* * *

То без снотворного не уснешь, то среди ночи проснешься — и хоть ты глаз коли. Вспоминаю мамино: «О чем — о чем только не передумаешь за ночь!»

Только и слышал, бывало: «Успеешь еще! У тебя вся жизнь впереди». Вот это она и вся уже? Сколько ни проживи — оглянуться не успеешь.

* * *

До Песчанской кумысолечебницы от Саратова часов пять поездом, а там автобусом еще часа полтора. И все полтора часа — степь и степь кругом без конца и края — ни деревца, ни кустика. Пока не завиднеется на горизонте то ли огромный стог сена, то ли еще что — не поймешь.

Это и есть Песчанка — парк в степи. Нарышкинская экономия когда-то, теперь кумысолечебница. Под купами раскидистых деревьев тесовые дачки понастроены.

В одной из таких дачек я и проживаю теперь, кум королю, то бишь главврачу (своему двоюродному брату). Окошко мое в прохладу березовой, бело-черной, как зебра, рощицы упирается; веранда — в жар степного простора, где полынный дух гуляет и такая тяга тугого воздуха, что наваливайся грудью да не ленись ноги переставлять. А из-под ног — что это? — сухие брызги во все стороны.

Ба, кузнечики! Ими-то степь и звенит. Сколько же их здесь!

Как плотвы в степных озерах, говорят приохотившиеся рыбачить санаторники.

И на моем подоконнике в эмалированном тазу для мытья ног перед сном две плотвички, вызволенные с кукана, все лето жили не тужили.

Настает конец сезона.

Сижу вечерком, читаю на крыльце веранды. Рыбаки с озера идут, окликают:

— Борис Яковлевич, на прощальную уху просим. И своих захватывайте. Разжирели, небось на казенных харчах.

Отрываю от книжки глаза, киваю машинально, а следом спохватываюсь: «своих»? Это которые, чуть стукни по тазу, к тебе мигом? Один мигом, другой, что с поврежденным плавничком, за ним ковыляя — их? Нет уж, братцы, как бы не так! В озеро отнесу. И отношу не без горечи: каково-то им будет? Особенно хроменькому.

А за прощальную уху уселся — глазом не моргнул. Вот ведь оно как!

* * *

Читающему человеку что может приспичить, окажись он теперь (в 67-м году) в Киеве? То́ и мне приспичило.

Осталось ли только, уцелело ли там что-нибудь за годы строек этих и войн?

Отпускники на машине, мы катили из Москвы в Закарпатье. В Киев въехали утречком, по холодку. Пышный и знойный стоял июль.

Спутников моих Лавра манила, а меня высадили на Крещатике у Владимирской горки. Представлял себе: где-то в этом районе. Где именно, уточнить не удосужился. Зачем? Первый же маломальски интеллигентный мне и покажет.

И — показали! Почем фунт лиха.

Полтора часа битых промыкался я по льющемуся в лаке машин, стеклах витрин Крещатику от одной интеллигентной физиономии к другой, и хоть бы в глазу у кого затеплилось.

— Извините. Я дом Булгакова ищу, я приезжий... Извините.

— Извините. Я приезжий, я дом Булгакова ищу... Извините.

Единственной с непустыми глазами оказалась пенсионерка в скверике, она спросила: «Это который „Дни Турбиных"?»

Отчаявшись, решаю брать быка за рога — в Союз писателей!

— Вы до кóхо? — останавливает меня в вестибюле барского особняка дежурная, — як вы ховóрите? Булхакив? Вин российский писмэнник чи вкраинский?

— А нельзя ли кого-нибудь из писателей повидать, все равно кого?

Мне в спину:

— Что вы хотели, товарищ?

Оборачиваюсь: по беломраморной лестнице спускается цветущая — ткни — сок брызнет! — особа:

— Что вы хотели? Я — писательница... С этим вопросом к старику краеведу лучше. Вот вам и его телефон.

Тут только мне стукнуло, что в Киеве же Виктор Некрасов.

Некрасова в городе не оказалось. Телефон краеведа не отозвался.

Куда теперь? А нет ли в Киеве ЦДЛ? Останавливаю такси.

— Как так «нет»? У нас в Киеве все есть!

И выносит меня бравый таксист на улицу Коцюбинского. Вместо ЦДЛ — к жилому дому писателей, кладбищенски красующемуся мемориальными досками. А! Была не была! Влетаю на какой-то этаж, звоню в дверь налево. Открывает белая кофточка, красный галстук. Спрашиваю старших кого-нибудь, объясняю зачем.

— Тогда вам до батька́. Проходьте.

Полутемная прихожая, поскрипывающая паркетом, высокие двери. Стучит пальчиком:

— Батько, до вас.

Ослепленный солнечными окнами, здороваюсь, не вижу с кем; с полосатой пижамой за письменным столом среди книжных шкафов.

— Что вы хотели? — спрашивает.

— Во-первых, прощения за бесцеремонность. Я к вам... Да не к вам, собственно. К самой украинской литературе, можно сказать. Дом Михаила Афанасьевича Булгакова ищу, с ног сбился.

Полосатый сдвигает на лоб очки, поднимается из-за стола, приглашает пройти.

— Вы кто, собственно, если не секрет?

— Просто читатель, проездом.

— Просто читатель, просто проездом. Ну что ж, понимаю. Такое впечатление «Белая гвардия» произвела. Недавно перечитал как раз. В романе — Алексеевский спуск. Такого нет в Киеве, есть Андреевский. У кого бы уточнить? Некрасов, говорите, отсутствует. Ушакова, Николая Николаевича, тоже нет — на даче, наверное. Он в этом доме живет тоже. Попробуем позвонить.

Листает телефонную книжку, сам с собой, вроде:

— М-да, расслоилось монолитное общество наше...

— Знаете, — говорю, сообразив, — не стоит звонить. Похоже, вы правы.

Спасибо тебе, полосатый! Твой Андреевский и оказался Алексеевским Турбиных. За нос не водил, голову не морочил. В один миг объявился своей булыжной мостовой, постаревшими воротами, калиточками, флигелями, заворачивающими куда-то, словно с глаз долой, и все в гору, в гору. Так, все так. Вот и дом № 13 — двухэтажный! И балкон над парадной — это же приемная Алексея Тур-

бина! И прогал между тринадцатым и соседним домом — сюда Николка браунинг спускал! Ну конечно!

Выскакиваю из машины, вхожу в калитку: покатый дворик под крутейшей горой, застекленная верандочка над лестницей в полуподвал — вход в квартиру Василисы! Домовладельца, «буржуя, и несимпатичного»! Никаких сомнений!

Женщина с ребенком в тенечке смотрит на меня, обалдевшего:

— Никак, писатель будете? — спрашивает. — Уже приходил один. К дочери домовладельца. Вот и вам бы повидать ее. Все про всех помнит. К сожаленью, они на даче теперь.

— А далеко ли? — спрашиваю.

— Место Дубки называется. На Остре. Километров полтораста отсюда. Да ведь не найти: палаточный городок в лесу. Разве что — по номеру машины. У них голубой «Москвич».

Не долго думая, на том же такси я — туда.

Примчался и скис: необъятные заросли! Как здесь искать? Иголку в сене!

Но язык — до Киева, а на ловца — и зверь. И десяти метров не проехали по лесной дороге, вижу: вжатый в кусты «Москвич» с заветным номером!!! Выскакиваю — мне мяч под ноги, за ним мальчонка в трусах.

— Хлопец! Где тут хозяева этого драндулета?

И я — на лужайке высокого берега, у воинской палатки, как на седьмом небе. Вкопанный стол, гамак, рукомойник на стволе дерева. Молодайка на корточках кастрюлю чистит ко мне спиной. Кашлянул — встрепенулась, Ренуаром писанная!

— Простите, — говорю, — что без стука.

Вскинула глазищи, обалдеть, какие! Поднялась.

— Мне Кончаковскую Инну Васильевну повидать бы.

— Мама, — кричит, — к тебе!

Из-за деревьев откуда-то выступает высокий, прямой, седой, а за ним, утицей ковыляя, тяжелоногая, остроглазая, не иначе как сама Инна Василь-

евна. (О нем скажет потом — «мой султан».)

— С кем имею честь? — спрашивает.

Представляюсь со всеми своими поисковыми мытарствами. Инна Васильевна смеется, удивленная.

— Ну, в таком случае, прошу к столу. Ирочка, поставь чайник.

— Нет-нет, спасибо. Меня ждет такси. В моем распоряжении полчаса.

И мы все за столом. За столом и та, которая... Передо мной на столе руки ее. Они, каюсь, отвлекают меня. Мне уже не до Булгакова.

Но словоохотливая Инна Васильевна уже «в седле».

— О самом Михаиле Афанасьевиче я мало что имею сообщить. В пору его студенчества девчонкой была. С булгаковским молодняком дружила — Лелей, Колей, Ваней. А старшие — Миша, Надя, Вера, Варя — женихались уже.

Инна Васильевна помолчала, и вдруг:

— Нет! — говорит, покрывается красными пятнами, — нет, не могу о своей претензии к Мише умолчать. Наши отношения с Булгаковыми — и не только

с Афанасием Ивановичем, Варварой Михайловной, но и с Мишей — никак не предвещали такой карикатуры на нас, то есть на папу. Такого, можно сказать, пасквиля...

Я обомлел: свят-свят-свят! неужто же?! ну, да: Васильевна — дочь Василисы!!! «Буржуя и несимпатичного».

Тут я ей о том, что прототип — не портрет и так далее.

А Инна Васильевна — свое:

— Не случайно же с Надей и теперь переписываемся. Живет Надя в Москве. Одно лето гостила у нас. В Москве и Вера Афанасьевна. Та прикована к постели. Жив и Ваня и тоже плох уже. В Париже он. Да что это я разболталась, а с кем и не знаю толком? Расскажите же хоть о себе что-либо.

Мое о себе прервал показавшийся из-за деревьев таксист, постукивающий пальцем по часам. Пора, мол, и честь знать. Поднимаемся.

— Жаль вас отпускать, — говорит Инна Васильевна, — но, надеюсь, адреса нашего не забудете. Вы нам понравились. Не в пример предшественнику своему.

— Благодарю. А кто же это был, простите?

— Киевский писатель один. Виктор Некрасов. Вы, наверно, не знаете такого.

— Да кто же его не знает!

— А мы вот не знали. А он подшофе счел возможным нанести свой первый визит.

— Ну и что такого?

— Как «что такого»?! Открывшей ему Ирочке в дверях: «Ах, какая женщина!»

— А она и на самом деле «ах, какая».

— Ну, знаете, ли!

И смеется.

Возвращался я в Киев — «Надо мною стояло бездонное небо, звезды падали мне на рукав»...

—

Вернувшись из поездки, раскрываю свежий номер «Нового Мира». Виктор Некрасов — «Дом Турбиных». И что же читаю? Пулю не в бровь, а в глаз, отлитую на Кончаковских...

Пишу письмо Инне Васильевне, посылаю «Избранное» Булгакова. Получаю от нее ответ:

«Уж, право, Борис Яковлевич, Вы вернули меня к жизни, если можно так выразиться. Все это время такое чувство, что семья моя оплевана. (...) Я действительно сказала, что у Михаила Афанасьевича (В. П. просил описать его внешность) были крупные зубы. Но совсем не в том смысле, что зубаст был или зуб на нас имел! Явная подтасовка! А Ирочку и совсем — „златокудрой Василисиной внучкой", т. е. отпрыском „буржуя и несимпатичного" — назвал. Ведь „буржуй и несимпатичный" — измышление Булгакова, а не ее дед. Да будь он и дед ее, она-то причем? Нас радовало, что „сын за отца не отвечает", а сами — за деда к ответу! (...) Во всяком случае: он хотел побывать в стенах, где жил Булгаков — он побывал, хотел получить хоть какие-то сведения — он их получил. И вместо благодарности — выставить нас чучелами огородными на всеобщее обозрение».

Из ее же другого письма:

«...Заходил от Нади (сестры Михаила Афанасьевича. — Б. Я.) племянник ее мужа Андрей и привез записочку мне.

(Я ведь не писала ей после того, как она меня отчитала, что не так разговаривала с Некрасовым, как следовало бы.) Опять называет „дорогая Инна" и подписывается „твоя Надя", чему я очень рада, конечно. Этот племянник рассказал мне, что Надя и Некрасову выговорила претензию свою, и что Некрасов перед ней извинялся».

Из письма третьего:

«Утром только отправила Вам и неожиданно снова пишу: не удержаться никак! Кто бы вы думали был у нас? Да, да! Он! И в малопьяном виде! И с букетиком свежей вербы! Спросил, получила ли я от него письмо. Получу, значит. (...) Пересматривая свою папку, перечитала копию письма к В. П., и стало мне стыдно: право, я уподобилась базарной торговке! Вот, что может наговорить человек, когда расторможены сдерживающие центры. А в ушах у меня целая тирада Ваша в его защиту. Отправила новогоднюю открытку ему под Вашим влиянием. Несмотря на заступничество свое за нас, Вы ухитрились возбудить у нас симпатию к нему.

Но... дорогой Борис Яковлевич, Вы немножко одержимы: все прощаете писателям. А правильно ли это? И у таких, как Лев Толстой, проскальзывает несусветная белиберда — имею в виду его „непротивление злу”. Или я просто „недомыслик”? Ну, хватит болтать. Теперь буду, как Ваш Олеша — в день по строчке!

Посылаю для Вашей жены рецепт „селедки под шубой” — салат, вытеснивший у нас „оливье” и тому подобные комбикормы. Делаю это потому, что у ее Дон-Кихота много друзей, которых надо же угощать чем-то».

Получаю и копию письма Виктора Платоновича:

«Многоуважаемая Инна Васильевна, очень огорчило меня письмо Ваше, огорчило и несколько удивило. Ну неужели же, Инна Васильевна, Вы думаете, что я хотел хоть как-нибудь Вас обидеть? Просто я написал под свежим впечатлением своего визита и, ей же Богу, ни одного слова не придумал. Написал как это было, а если напутал с „баженковской” мебелью, то простите меня за это

(это бич всех киевлян, у меня тоже вот уже 20 лет стоит отвратительный „баженковский" диван, с которым я почему-то не могу расстаться).

Что же обидного и „клеветнического" Вы увидели в моем столь задевшем Вас очерке?

Белье гладили? Что же тут обидного? Что Ваша дочь сказал „дядьки"? Дядьки так дядьки, нас с товарищем это ни чуть не задело... И приняли Вы нас совсем не плохо — рассказали, показали, все честь честью, на большее никто и не рассчитывал... А насчет „клеветы", „мелких бабских сплетен" (каких?) и гонорара я думаю, Вы сами понимаете, что сказали лишнее. И поверьте мне, что ни один из друзей и знакомых, ни один из корреспондентов — повторяю: ни один! — не усмотрел в моем очерке что-либо обидное для Вас и Ваших детей.

Тут уж скорее можно было обижаться на Мих. Аф. Ну да это дело прошлое... Надеюсь, что, подумав о том, что я Вам со всей искренностью пишу, Вы смените гнев на милость и простите грешного, но ни в чем не повинного В. П.»

И приписка Инны Васильевны: «Ну, что Вы теперь скажете?!»

В конце декабря получаю письмо от сына Инны Васильевны, Валерия Николаевича с трогательным приглашением на встречу Нового года по-старому:

«Вам будет предоставлена тахта и стол в бывшей лестничной клетке парадной Турбиных, а ныне — комнате-шестиметровке... Недостойные, но изворотливые выходцы из „низов" приспособили все как умели». И подписывается: «Еще один не предвиденный Булгаковым персонаж — внук Василисы». И приписывает: «Сердечный поклон Вам от моей сестры. Она много раз порывалась писать Вам, но у нее ничего не получается».

Бессонница. Гомер. Тугие паруса... И я — в Киеве.

—

Что это были за дни! Каждый отхватывал полночи. Завтраки наступали на пятки обедам, обеды — ужинам.

Но главное вот.

Мы — в бывшей гостиной Булгаковых.

Инна Васильевна — само обаяние.

— Дом этот, столь знаменитый теперь, был куплен папой — Василием Павловичем Листавничим — в 1909-м. Мне четыре года было. На руках сюда принесли, отсюда и вынесут. А папа и десяти лет не прожил тут. Ну, да — с 1909-го по 1919-й. Из бедности поднялся сюда, в беду канул...

Не на много и Булгаковы пережили его.

В самое смутное время кто же оставался из них? Миша с первой женой Тасей, Варюша с мужем Карумом, Вера с Казимиром Леонидовичем — мужем ли, не мужем — не знаю, как считать — мужем в общем, и Коля, Ваня.

Но к моему возвращению из Одессы, а вернулась я, когда власть большевиков окончательно установилась уже, никого из Булгаковых не было.

В их квартире хозяйничал некто Иван Авксентьевич, кассир с переправы. Так и вижу его разгуливающим по двору в бальных лакировках и то в одной, то в другой ротонде из булгаковского гардероба.

Мама видеть его не могла: «Шут гороховый!»

Однако сестер Мишиных повидала я еще: на девятый день по Варваре Михайловне угодила, когда они съехались кто откуда. А братьев никого уже не было. И о них сестры помалкивали в тряпочку... Потом узнала, что они — и Коля и Ваня — с отступающей Добровольческой ушли.

А поминали Варвару Михайловну блинами. Помянули и разъехались опять.

В Киеве только Леля оставалась, младшая, с отчимом, доктором Воскресенским, известным в городе педиатром. «Ну-с, — скажет, бывало, присаживаясь к постели, — что с нами приключилось?» Вылитый Чехов. Так его и звали у нас: чеховский доктор. Едва ли не одним из первых выслали из города.

А какова судьба упомянутого Казимира Леопольдовича, не знаю. Это в его ротондах шут гороховый разгуливал по двору. Его в Мышлаевском усматриваю.

А в Николке никак не Колю — Ваню вижу. И играл он не на гитаре, а на балалайке. Балалайка и кормила его в эмиграции. Зачем Михаилу Афанасьевичу гитарой ее понадобилось за-

менить, это уж вы мне, может быть, скажете!

— А затем, — говорю, — зачем Ваню — Николкой, затем, что младший Турбин — отнюдь не «Ваня с балалайкой». Ни Ване, ни балалайке не в обиду, разумеется.

— Ох уж этот Борис Яковлевич мне! Ладно! Пусть так.

Ну, а в Елене Турбиной — Варюшу, конечно, всеобщую и Варвары Михайловны любимицу. И самая хорошенькая была, и на рояле прелесть как играла, и, когда спор разгорался, каждый другого перекричать норовил, молодежь ведь все, вскочит, бывало, на стул и по кафелю голландки «Ти-ше!» напишет. Карум души в ней не чаял. Откуда Миша Тальберга взял ей? Карума в Тальберге — ни на йоту! Не говоря уж о том, что Карум не от Варюши уехал, а с Варюшей. И не в Берлин, а в Москву. Вместе и в ссылку пошли. Бедствовали очень... Там в доме умалишенных Варюша и дни свои кончила. А Карум лет пять назад жив еще был. С дочкой оставался.

Теперь не знаю ничего о нем. Все спросить хочется у Нади. Но она не любит об этом в письмах. Школой в Москве заведовала долгие годы.

Инна Васильевна приподнимается, упираясь в столешницу сперва локтями, потом ладонями, идет к книжному шкафу, достает папку, раскрывает ее передо мной, находит стародавнюю фотографию на картонном паспорту.

— Вот, смотрите. Семейство Булгаковых на даче в Буче, за чайным столом. Фигурка от стола в стороне — Надя. И на ней, обратите внимание, простые ботинки. Тогда поговаривали, что она социалистка. Ей и свадьба была устроена Варварой Михайловной скромная. Сообразно с ее взглядами, надо полагать.

И с Еленой Сергеевной не очень-то якшалась до последнего времени. Недавно, как сама сообщила, повидались. Что-нибудь согласовать, видимо, перед лицом истории. Я так понимаю.

Ну что ж, ее право. И я, может, не должна бы рассказывать вам? Но и у меня ведь болит. Как Мише мать — «светлая королева», мне папа — светлый ко-

роль. Так рано — в сорок три года! — и так трагически сгинувший.

Поймете ли, сможете ли понять, каково мне было, когда Ирочка и Валерий наперебой присланную вами «Белую гвардию» читали — душу топтали!

«Прототип», объясняете! Но мне-то — папа, а не «прототип»!

И потом, как же он мог, Михаил Афанасьевич, ставить под удар живых людей? Знал ведь, когда отдавал в печать, что в Киеве творилось... Прямой донос ведь — вот, что он сделал! К нам с мамой и прибежал инженер тоже, наискосок жил. «Не лучше ли вам уехать из Киева, Ядвига Викторовна?»...

— Но обошлось же, хоть и не уехали. Не случилось ничего?

— И в этом оправдание видите? Да. Случилось, что не случилось. А случись? Не золотишко — кишки бы вытрясли!

Да и что зазорного в «тайничке» с золотишком в такое-то время для человека семейного. Миша не зря же Василису бездетным представил.

И налет петлюровцев — никаких не петлюровцев был, а большевиков, уве-

ряю вас. И часы-глобус, которые — вот они! папин маме подарок на мое рождение — никто не забирал, как и шкатулку из тайничка с золотишком. Можете полюбоваться. Папа действительно замуровывал шкатулку, но не за обои, а за нижний кирпич печки. И содержимое тайничка мы с мамой на соль и муку обменивали, когда без папы остались. Обыск у нас имел место, но никакого грабежа учинено не было. Одни папины бумаги забрали да пишущую машинку и папу увели. А ковры, сервизы — другой раз конфисковали. Так что трусливая трясучка и заискивание перед Турбиным — небывальщина.

То же и портрет предка папиного со Станиславом на груди. Папины предки, купцы, не орденами — соболями щеголяли. Орден у папы у первого в роду был. Что нисколько не смягчало, замечу, его антимонархических настроений. Февральскую революцию он восторженно встретил. Среди возглавлявших первую в Киеве демонстрацию шел с красным бантом на лацкане. Я из окна смотрела, распираемая гордостью. Тем

более чепуха — портрет Александра II у нас на стене. Этого и Ядвига Викторовна не позволила бы: патриотизмом шляхетским страдала. Польскую и прислугу держала, чтобы — «польский стол».

Дальше. Чтобы папа замахнулся на кого-нибудь, как Василиса на Ванду — абсурд какой-то!

У мамы с Вандой ничего общего. Ни внешне, ни внутренне, потому и не задевает меня. Василиса же — портрет папин, но издевательский!

Скажу вам, как на духу. Ни храбрецом, ни безупречным мужем папа не был. Верно. И сцены ревности, которые не безобразны в операх только, случались. Но чтобы он при этом грубость позволил себе — никогда. Отмалчивался, отговаривался, выкручивался. Мама была мастерица в обморок падать, а папа — отмалчиваться.

И тут позвольте спросить вас: как же это у Миши получается? То, что Мышлаевский милашку горничную Турбиных прихватывает в потемках — это ничего, даже симпатично! А Василисе мало того, что объектом соблазна молочница

Евдоха предоставлена, у него еще и похотливые мурашки по животу бегают. У Мышлаевского, что — не бегали?!

Верно написана Мишей внешность папы, если не считать глаз. Глаза у папы замечательные были! Какие у умных крестьян бывают — цепкие, с лукавинкой.

(Тут Инна Васильевна смутилась, уловив на себе мой взгляд.)

— Да! Вся в него, как видите! Не в маму.

Мама внешности аристократической была. И манерами и замашками. Достаточно сказать, что старики папины были не вхожи к нам. Вхожи сестра только, преподававшая рукоделье, и брат Яков, рисование преподававший.

Справедливости ради надо сказать, что и старики покладистостью не отличались — коники выкидывали: полячка! на тринадцать лет старше, да еще с прицепом — двое детей от первого брака.

И все-таки не это порождало мамину категоричность против них. Должна признаться, что бабушка Ксения Георгиевна и меня шокировала — на улицу избегала показываться с ней.

А где в романе быль проглядывает — это в Василисином сновидении. И вот какое подозрение возникает у меня в связи с этим.

Дядя Яков, будучи распорядителем работ на папиных стройках, помимо того что рисование преподавал, то есть вполне достаточно зарабатывая, чай вприкуску пил и недогрызок в карман отправлял — можете себе представить! Так вот: не с него ли на папу эту милую черточку Миша распространил? Потому что о какой же скаредности папиной может идти речь, если только и делали, кажется, что помогали всем! Я уж не говорю о стариках. Но и старшему брату Петру отказа не было на его прошения. «Дорогой брат Вася! Пришли сколько сможешь...» и дальше шло либо: «...по случаю крестин», либо: «...по случаю поминок»! Детей у дяди Петра не счесть сколько было.

Как у папы — должностей.

И теперь найдутся, у кого можно спросить, кто такой Василий Павлович Листавничий. Он и архитектор киевского округа путей сообщения, и стар-

ший преподаватель художественного училища, им и книжки написаны («Курс строительной механики», «Печное дело»). А строительств по подрядам — и не только в Киеве, но и в Нежине и в Новограде-Волынском!..

Чтобы дали кусок проглотить, телефон отключать приходилось. Одним словом, неба зря не коптил! И каким развеликим ни будь Булгаков (не возражаю), не на одних Булгаковых мир держится.

А если вспомнить, из какой нищеты-темноты выбрался! «Что ты карасин жжешь, Васька! Ложись, тебе говорят!» — этих слов матери, сам отцом стал, забыть не мог.

Соболями-то ведь не отец — дед папин щеголял. Церковь Петра и Павла на Подоле, что Ирочка вам показывала, дедом поставлена была — «Радением и на средства купца первой гильдии Василия Васильевича Листавничего». Кожевенное, шорное и гвоздильное дело держал на широкую ногу. Но к концу жизни пошатнулось оно у него, а поправить не сумел и совсем в трубу вы-

летел. Все, что осталось от капитала и досталось наследникам — это деревянный домишко на Батыевой горе. Тут-то «карасин» и стали наперсточком отмерять. Тоже винить нельзя.

И учился папа на свои — по урокам бегал.

Репетитором и в семью провизора Рудковского вошел, владельца аптеки. Она и теперь — аптека. Угол Житомирской и Владимирской. Дети Рудковского — Виктор и Генриетта — и стали впоследствии моими сводными братом и сестрой...

Сорокалетний красавец-поляк Рудковский влюбился в девятнадцатилетнюю армянку, оставил жену с детьми, уехал в Полтаву. А жена его обвенчалась со вчерашним студентом, теперь молодым инженером Листавничим.

Вот еще что за роман услышали вы в доме № 13! Жаль, не от самого Василия Павловича слышите: рассказывать любил — медом не корми. Ваша покорная слуга и этим в него вся.

Дальше. Подольское восстание 1863 года возглавлял, как известно, генерал

Хлопицкий. Так вот: в том же 1863 году родилась у него внучка — это моя мама.

— Ого! — говорю, — кто скрестился в вас! Русский купец и польский бунтарь. И что же, не взыгрывают то тот, то другой?

Голос Ирочки с кухни:

— Взыгрывают, взыгрывают!

Инна Васильевна ей:

— А ты бы лучше на стол накрывала, чем подслушивать.

А мне шепотом:

— Взыгрывают. Купец чаще.

И продолжает:

— По маминой линии еще одна знаменитость имеется — основатель и первый директор Одесской консерватории Витольд Иосифович Малишевский. Мамин двоюродный брат, мой одесский дядя. Окончил он математический факультет Киевского университета. Уехал в Петербург, поступил в Военно-медицинскую академию. В одном семейном доме услышал его импровизацию на рояле Римский-Корсаков и пригласил в консерваторию. Окончил ее Витольд Иосифович одновременно с Глиэром. В 1920-м

эмигрировал в Польшу. Помогал нам первое время, пока не стало чревато... Потом и от переписки отказаться пришлось. Нелегко это было маме: всю молодость рука об руку прошла с ним. Мама ведь тоже прекрасно музицировала.

Так что в женитьбе Василия Павловича на даме с двумя детьми нет оснований усматривать что-либо зазорное.

Молодой, энергичный инженер, он скоро встал на ноги и первым делом приобрел вот этот вот дом. А хозяйничанье начал с выдворения из надворного флигеля черносотенной газетенки «Двуглавый Орел». Чтобы поселить в нем сметчика своего, крестного моего Шульгина.

Бездетные Шульгины и привечали нас — и меня, и Лелю, и Колю, и Ваню. Он, любитель-астроном, прогулки по звездам устраивал нам. Я и теперь карту неба лучше географической знаю. Она в плохую погоду плед расстилала нам в «блошки» играть. Но особенной любовью их пользовался Коля Булгаков. Колю попросить что-нибудь — все равно что одолжение ему сделать. Палец обрежешь, кто за йодом побежит? Коля.

Мишиной жене корзину помочь нести с базара — Коля... И до чего же любознательный был — все его интересовало! Иначе как ученым и не представляю его себе. Он и стал в Париже профессором Пастеровского университета. А это вам не на балалайке в ресторане играть. Хотя зря, пожалуй, я так. Но один случай запомнился, который я потом оценила.

Что такое «белая грудь», спрашиваю я у Коли, имея в виду известный в те годы романс «Черные очи, белая грудь». Это, объясняет Коля, гусарская форма такая была с белой вставкой на груди. Задай я этот вопрос Ване... О! Тот живо разъяснил бы мне что к чему! Ферт был. Со всеми задатками по дамской части!

— А Михаил Афанасьевич по этой части как? — спрашиваю.

— Михаил Афанасьевич? — задумалась Инна Васильевна, — нет. Хотя... Нет, все-таки нет.

Игры наши помню. С Лелей в княжну Джаваху, например. Леля Бэллой была всегда. Головенки-то Чарская да Желя-

ховская кружили нам. Но читали и «Рейнеке Лис», конечно, и Жюль Верна, и Сетон-Томпсона. А Коля с Ваней «Шерлоком Холмсом» зачитывались до чертиков. Из ложи в антракте не выходили — читали! Поигрывали и в картишки, между прочим. Заберемся под куст сирени во дворе на горке и жарим в «очко». Бедные мамы, если бы они знали...

Упомянула дворовую сирень — другая картина встает.

Чаепития наши в летние вечера на горке. Горка в те годы садом была. Яблони, вишни террасами. На двух террасах — площадки, на площадках — столы, стулья. Одна площадка — наша, другая — Булгаковых. Самовары дворник выносил, прислуга — снедь всякую.

Мама как-то торжественно держалась, папа беззаботно-шутливым был.

С этих площадок, не помню в каком году, лицезрели мы фейерверк над Днепром по случаю прибытия царствующей четы. И мы, и Булгаковы, и набежавшие с соседних дворов. Мы все — на нашей горке, а государь с Александрой

Федоровной в это время — на Владимирской. Принимали посылаемые им огненные цветы.

Запомнился вечер этот каким-то единым настроением взрослых и детей, как будто в одну игру играли.

В каком же году это было? В 1913-м, наверное. В последнем году мирного времени. Хотя должна вам сказать, что и 1915-й и даже 1917-й мирными помнятся мне.

В лето 1915-го мы с мамой почему-то не поехали никуда. И меня мама отправила на дачу к Варваре Михайловне в Бучу. Соскучившаяся по лесу, я пустилась пешком и заблудилась. Ночь надвигается, а иду уже не знаю куда. Елееле выбралась все-таки. Прихожу, а на даче переполох. Меня разыскивают, с ног сбились. Коля с Ваней на велосипедах по лесу, и аукают, и в рог трубят (у Булгаковых в рог к столу сзывали). Варя с Карумом уже второй раз на станцию встречать пошли. Одним словом, испугана была Варвара Михайловна и взбучки мне не устроила.

— А могла? — спрашиваю.

— Вот и вы тоже! Как Лакшин. Интеллигентной и мягкой представляете ее себе. Что интеллигентна — спору нет, в высшей степени интеллигентна, но мягкой — извините. Да и как бы она управлялась со всей этой оравой своей, будь она мягкой-то? Семеро ведь! Какой там семеро — девятеро! Племянников же еще двое, сыновей брата Афанасия Ивановича, настоятеля Токийского собора. Жили в Токио, учились в Киеве. Японцами прозывались. На лето уезжали, на зиму приезжали.

Мягкая! На даче и то: сказано к одиннадцати в постелях быть, и тут уж — никаких разговоров. Сбегали, правда, иной раз. Оставят чучела под одеялами и — в лес. Но это под страхом смерти!

А когда Варвара Михайловна с головной болью просыпалась, спешили позавтракать и разбрестись кто куда. И тогда, если кому что понадобится, то — через Варюшку только. Одна Варюша могла уладить.

Варюша и обязанности камеристки исполняла — помогала Варваре Михайловне волосы расчесывать, сеточку на при-

ческу надевать. Варвара Михайловна очень следила за собой. И детям не позволяла неряшливости.

Дом вела — поучиться надо!

Взять Рождество хотя бы, елки. Булгаковские елки я больше наших любила — так она умела устроить все: и стол и игры.

Среди приглашенных дети отца Александра бывали, священника церкви Николы Доброго. Вот кто совершенно с натуры нарисован Мишей в романе. Именно таким и был.

Между прочим, на процессе Бейлиса выступал в качестве знатока Талмуда. В пользу обвиняемого, конечно. Прихожан своих едва ли не всех по имени, имени-отчеству знал. Кланялся первым.

Неверующему папе, который провожал меня до церкви и приходил за мной к концу службы, с амвона, помню, поклон посылал, заметив его на паперти.

Отец Александр и Варвару Михайловну отпевал и Ядвигу Викторовну. В 1936-м уже. А в 37-м сам в «отпетые» угодил...

Но я отвлеклась. Вот еще пример Варвары-михайловниной «мягкости». Бра-

тец мой Виктор не в пример весьма серенькой паненке Гене, Генриетте, золотыми руками обладал и баритоном — слов нет каким!

Дефект у Виктора один имелся: гуллив был баритон этот, как тенор. Не преминул и Леле Булгаковой вскружить голову. У самого закружилась, и ей вскружил.

И не знаю, чем бы это кончилось, когда бы не вмешательство Варвары Михайловны. Мигом точку поставила! Не поглядела, что оба как в воду опущенные ходят.

Правду сказать, не прошло и полгода — Ромео женился.

Имею сведения, что умер в Тунисе...

— А Леля? — спрашиваю.

— Леля пять лет назад умерла. И совсем недавно — Геня, в замужестве Кистяковская.

Кистяковские — это была известная в Киеве профессорская семья. Запомнившаяся киевлянам еще и тем, что на территории их усадьбы (Кузнецкая, 58) Столыпин долгое время лежал, сброшенный с пьедестала. Геня за младшим Кистяковским была, за Жоржем.

После реквизиции у них имения они еще особняк в состоянии были купить. Но скоро продали и его. Домик купили, и не в Киеве уже, а в Виннице. Где и настигла их участь многих в те годы семейств — распродаваться и распродаваться до полного обнищания.

А приданое ей к свадьбе папа у Альшванга и Слинько заказывал да белошвейкам Флоровского монастыря. Рудковский же, родной отец, отделался дюжиной серебра.

Слова-то все какие: «дюжина серебра», «белошвейки» — совсем из другой жизни! Из которой так или иначе выбросило всех.

Вот папина записка. Читать погодите, послушайте прежде. Записка из тюрьмы.

Это 19-й год, город под большевиками.

После ночи, в которую папу забрали, оставив бедлам в квартире и вопль в душе, нам с мамой утра не дождаться было. Чуть развиднелось — помчалась я к дяде Петру, единственному из нас пролетарию. С ним — в Губчека.

Узнали, что содержится Листавничий в Лукьяновской тюрьме и что передачи принимают неограниченно.

Потом я пронюхала, что из тюрьмы их выводят на огороды копать картошку, и прибегать туда стала. Прибегу, приткнусь где-нибудь в отдалении и сижу. Тут-то однажды папа и перекинул мне в спичечной коробке записочку эту вот. Теперь читайте. Полвека хранится она у меня.

«Нинусяка, возвращаю посуду — два горшка, кастрюлю, салфетку. Переводят в Гомель... Не ответила, получила ли (слово неразборчиво).

Твой паптуся Вас Лис».

«Переводят в Гомель» — вот что ему хотелось сообщить нам, что через охранника нельзя было.

Потом почему-то свидание разрешили. Да не по одному, а партиями: партию заключенных, партию родственников.

Увидела я паптусю моего вблизи — обомлела: обросший, всклокоченный какой-то, с мученическими бегающими глазами. Я — к нему, а он — как не в себе: «Держись дальше, держись дальше, делай вид, что ты чужая».

Вышла я со свидания с того сама не своя.

На другой день прибегаю опять на огороды, а их уводят уже. И он крайний. Оглядывается на меня, оглядывается. Вдруг — я даже не сразу догадалась, чего это он — крестным знаменьем меня осеняет из-под полы. Это папа-то!

На другой день, и через день, и потом их не вывели уже. А в городе расстрелы начались: Деникин — Добровольческая наступала.

За особняком Бестужевых, что Ирочка показывала вам, где теперь стоянка такси, как только добровольцы вошли в город, ров был вскрыт. Удушающее зловоние от рва до самой Думы стелилось. В близлежащих домах форточки не открыть было. А пошли, потянулись опознавать...

Что творилось с людьми, этого я вам передать не могу!

О какой-то княжне Урусовой разговоры помню, расстрелянной, как видно, последней: сверху лежала обнаженная...

Не прекращались слухи и об отправленных заложниками в Гомель, даже пароход называли: «Дедушка Крылов». Так что у нас с мамой надежда оставалась еще.

Пока письмо не подбросили однажды за подписью «Ученики Василия Павловича». Во время уборки в Лукьяновской тюрьме, сообщалось нам в том письме, на стене одной из камер обнаружена надпись: «В ночь с 30 на 31 августа 1919 года расстрелян инженер В. П. Листавничий без следствия и обвинения».

Ну, что с нами было, сами понимаете, можно не рассказывать.

Вдруг Нивин появляется (инженер тоже), не приходил ли Василий Павлович, спрашивает. Рассказывает, что с «Дедушки Крылова» вместе бежали. Через окно уборной. Но пароходишко колесный, мог и под лопасти угодить. А могла и пуля догнать: огонь был открыт.

Но, может, и придет еще.

Ждем. От каждого скрипа калитки вздрагиваем. День, другой, неделя — нет. Нет, нет и нет. Пережили и это — вторые похороны, считай.

Марыся является. В горничных когда-то была у нас. «Что с паном?» — спрашивает. На Тифлисском вокзале, оказывается, когда мужниных родственников встречала, по перрону прохаживалась,

бросился ей в глаза старик, одиноко стоящий у подножки вагона, очень напоминающий Василия Павловича. Решила подойти. «Вы не пан Листавничий будете?» — «А вы кто? Откуда вы меня знаете?» Но тут паровоз дал свисток, пан вскочил на подножку, и что уж он прокричал ей, она не расслышала.

А состав, как она узнала потом, шел в Константинополь.

И на том — все, точка. Если не считать недавней паники. Пару лет назад.

Выхожу я утречком со двора, соседка навстречу: «Что за гость у вас такой почтенный?» — «Никакого гостя, — говорю, — с чего вы взяли?» — «А кто-то, — говорит, — чуть свет похаживал против вашего дома, на окна поглядывал. Пожилой такой и одет не по-нашему. Мне подумалось, что будить не хочет».

Как я дослушала ее, — Инна Васильевна прижала ладони к груди, — сама не знаю. В ушах зашумело, сердце заколотилось. На мое счастье, Валерий выходил из ворот. Увидел меня, испугался: «Что случилось?» А у меня ноги подкашиваются: «Папа! — кричу, — мой

папа!» Тут же и Ирочка выбежала. Ввели меня в дом. Николая Ивановича с работы вызвали.

Объездили все гостиницы города.

Последнее видение.

Инна Васильевна помолчала, разглаживая ладонью немятую скатерть, вздохнула.

— Вот и вся жизнь. И вам, Борис Яковлевич, я очень признательна за ваше внимание. Как будто того только и ждала — ухнуть в прошлое.

—

В последний перед моим отъездом вечер Инна Васильевна с Ирочкой устроили мне проводы — веселое семейное застолье.

—

...Так дом Турбиных стал для меня не только — Турбиных.

* * *

Лечу на свидание в Киев, на первое свидание.

Мне уже сорок шесть было.

В саратовском аэропорту разговоры о подряд двух катастрофах. Страшусь: только бы не на пути *туда*.

* * *

Редкий вечер я не у Нины Карловны, не на ее — от потолка через тахту до пола — ковре. Завалишься к ней, бывало, тебя еще в коридоре, не дошедшего до двери, встречает заливистый лай из ее комнаты, а в комнате — Нина Карловна своей всегдашней улыбкой навстречу и щенячье вилянье у твоих ног.

Если у нее кто-нибудь из приятельниц — ничего, долго не засидятся. Одну дети дома ждут, другая живет — не ближний свет, а вставать утром рано.

Они — за дверь, мы — на ковер.

Нина Карловна в один угол с ногами под себя, облокотясь о пеструю подушку; я — в другой, что вплотную к старинному столику у высокого окна под зеленым абажуром с очередной книжкой на нем. Между нами пепельница, сигареты, спички. И пошло-поехало.

Читателей таких, как Нина Карловна, поищи пойди. Каждое слово в толк берет, не пропустит. Поспешишь — прервет:

— Погоди-ка, погоди, еще раз...

Булгакова «Избранное» читали, помню (только что вышел тогда), «Белую Гвардию». На фразе: «Много лет до смерти в доме № 13...» — вырвалось:

— Вот ведь как! Слово «матери» отсек и преобразил смысл. Одно дело — «до смерти матери», другое — «до смерти в доме». «Смерть в доме» — это смерть, весь дом перевернувшая, какой и была для Турбиных смерть матери, «светлой королевы».

И берет сигаретку:

— Покурим?

Вот Нина Карловна.

И вот Нина Карловна.

Вхожу в тот же коридор и слышу приглушенный треск, визг транзистора. Открываю без стука дверь в ее комнату. Она, вижу, притулилась на краешек тахты в плаще, в чулках (туфли у порожка сбросила), ловит, ловит — черта с два! Кроме как на разных языках: «Чиерна... Чиерна... Чиерна...» Заметила меня, мотнула головой — проходи, мол. Выключила, встает:

— Слышал? Значит из Кашиц — в Чиерну.

Плащ — на вешалку, ноги — в тапочки:

— А ты из мастерской или из дома? Поешь со мной? у меня росинки маковой во рту не было с утра. Пойду чайник поставлю.

Не успела выйти — телефонный звонок. «Здравствуй... Да что ты!.. Посылают или он сам?.. Понятно, ничего удивительного. Ведьмы мы или не ведьмы — патриоты или нет!»

А нас Злата Прага в четырех стенах ни на минуту не отпускает от себя. Мы и через год будем у телевизора дрожать от восторга при каждой шайбе чехов в наши ворота. Не то что — тогда. И никакой машинописи, как на грех, что сдувает нас с ковра к столу, за машинку.

Время такое было — самиздатское.

Людмила батьковна, супруга босса в областном масштабе, шутила не на шутку над своим старшеклассником:

— Хоть ты ему «Мертвые души» перепечатывай, чтобы он прочитал!

— Живая душа, — улыбалась Нина Карловна.

Саму Нину Карловну эта тревога не глодала. Из замужества бездетной вернулась к матери. От славного, но слабовольного мужа, задерганного волевой до самодурства матушкой. Да так, что, когда в больнице оказалась, и он приходил к ней украдкой, а после операции уговаривал вернуться («матери не вечны»), отказалась.

Скоро Нина Карловна свою похоронила, а оставшись, пусть и без нелегких подчас забот о ней, впала в одиночество. Сестра, правда, за стенкой той же отцовской квартиры семьей жила, но общались сестры через порог, не более того. А отец-то старорежимным инженером-путейцем был, и фотопортрет его у Нины Карловны между окнами над письменным столом висел, а реликвией ее — карне было, привезенное им из Парижа.

Словом, общим между сестрами на моих глазах являлась только кухня с замком. Ключ у одной сестры, ключ у другой.

Короче. В те-то похоронные дни и надоумил кто-то Нину Карловну взять

себе псенка. Назвать Никитушкой Освободителем. Кормила ливерной колбасой, поила бутылочным молоком, сшила ему подстилку. Дрых то калачиком, то брюхом кверху. Только вот тапочки приходилось на вешалку убирать, к шляпам.

—

Не о чем бы и говорить, не прокатись слух об андроповской облаве на самиздат. Даже у Юрия Михайловича Лотмана, у Леонида Ефимовича Пинского, у алма-атинского литературоведа Лендау, выбросившегося во время обыска из окна.

Мы подобрали ноги, чтобы, чего доброго, не отдавило. Береженого Бог бережет, небереженого конвой стережет. Самое опасное Нина Карловна к Полине отнесла, в ее деревянный домик с печкой. И принялись, как всегда, читать. Жена сказала бы: «витать!»

Пока разом семерых нас не выдернули. Меня прямо с работы привезли на «Москвиче» в кабинет к следователю.

— Здравствуйте, Борис Яковлевич, — быстроглазый молодяк мне, — присаживайтесь. Знаете, зачем мы вас?

— Мало ли?..

Засмеялся:

— Вот именно!.. Свидетелем.

— Интересно, — говорю, — это еще что за финт?

— Ну, что уж вы так? По делу о порнографистах свидетелем. У одного из них на письмо Солженицына съезду наткнулись. Вынуждены проверить, у кого что есть. Во избежание неприятностей.

Докладываю. Записывает. Просит принести завтра-послезавтра.

— А хотите, чтобы не таскаться по городу, можем сейчас подъехать.

Уже в машине интересуется, кто у меня дома теперь, и просит не говорить, откуда он, не беспокоить зря.

— Скажите лучше: книжник.

И действительно, к стеллажам не подошел даже. Спросил только:

— А во что сложить найдется?

Небывальщина!

Когда спешил от него к Нине Карловне, темнело уже. Ее тихая улочка обезлюдела. Но и в ее окне света не было. Тоже вызвали?

Присел на скамейку у подъезда, жду. Идет, вижу. Поднимаюсь ей навстречу:

— От них? — спрашиваю.

— Нет, — говорит, — от Вити. Мама его позвонила, она же сердечница. А вызывали его. Вернулся, все в порядке. У тебя что?

— И у меня все в порядке, и я вернулся, как видишь.

Заходим. Рассказываю.

— Ну вот, — смеется, — а ты: «сегодня же! Немедленно!»

—

Это было вчера. Прихожу, как обычно, нынче — что такое?! — ее солнечная комната полна притихшего по стенкам народа. Сидят, стоят.

Тишину нарушает бойкий голос «книжника»:

— А, Борис Яковлевич, просим, проходите. Придется задержаться несколько.

Прохожу отгороженный шкафами мамин закуток, а за ним на тахте пластом, и ни кровинки в лице — Нина Карловна. Над ней кагэбэшница в белом халате.

— Что с тобой, Ниночка?

Еле-еле выговаривает:

— Целый день продержали... сознанье теряла, приходила в себя на полу... эти гестаповцы...

— Нина Карловна, вы мешаете работать. Нам к двенадцати закончить положено. Уйдем — что хотите воротите.

Работал, не покладая рук, шестерка. Выворачивал из ящика шкафа магнитофонные бобины, связки писем, еще что-то.

— Ну, все, похоже, — говорит.

— Тогда на кухню давай, — волчара ему, — где у вас ключ от кухни, Нина Карловна?

Не прошло, кажется, и пяти минут, тот выносит, открыв дверь ногой, кипу машинописи во всю длину рук — от подбородка до колен.

Во мне все оборвалось.

Ах, Ниночка, Ниночка. Как же. Ты. Так?!

— Ого, — осклабился «книжник», — из какого же это корыта?

— В погребке было, под картошкой.

Когда все молча разошлись, кроме нас с Зельдой, оставлять Ниночку одну нам никак было. А она — ни в какую.

— Перестаньте... Приму снотворное и усну.

Как было упорствовать?

— Ну хорошо, — говорю, — давай так: я через час-полтора все равно зайду. В пятнадцати минутах ходьбы от тебя. Начнет клонить в сон, выключишь абажурчик. Руку протянуть. А нет — оставь. Договорились?

Кивнула.

Вышли мы с Зельдой на воздух из надышанной комнаты, первое, что стукнуло мне в голову — вероятность и других обысков теперь, а дома в диванном валике — рукопись моя!!! (Двадцать лет корпел, всю ссылку от освобождения до реабилитации и чуть не до нового срока вот теперь, в глухую от всех и вся писал мои по заначкам скрываемые *колымские рассказы*.) Как оставить? А если утром явятся? Выход один — в подвал.

Влетаю на свой этаж. Выпарываю из валика скрученную, заклеенную в клеенку рукопись и — туго-натуго в жестяную банку; зарываю в сухой щебени-

стый грунт не нашего сарайчика, а подвального прохода. Взмокший, с дрожью в коленях — во двор, озираясь невольно*.

Выйдя со двора, закуриваю и — к Нине Карловне.

Тюль в углу ее окна зеленеет. Не выключила! Вхожу: Никитка у дверей вокруг моих ног вьется молча, умница. Нина Карловна спит. Оставляю записку: «Был. Б. »

---

* Когда повеяло гласностью, что называется, без дураков, я приехал за рукописью — а ее, к ужасу моему, на том месте не оказалось. После уличной встречи с одним из следователей КГБ мне стало понятно, что он знает рукопись, читал ее, и что, значит, она — у *них*. Могло быть так: за мной как за старшим в тот злополучный вечер послали проследить. Я же, прежде чем войти в свой подъезд, подошел ко входу в подвал убедиться, что он не заперт. Это и насторожило посланного за мной. Увидев, как я спустился со свертком, а вернулся с пустыми руками, он вошел следом и отрыл рукопись. Знать бы мне тогда, что рукопись мою *выкрадут* — даже не *изымут*!..

Единственный, кто читал рукопись целиком — Борис Слуцкий. Память об этом — надпись на подаренной книжке: «Борису Ямпольскому от Бориса Слуцкого. В надежде славы и добра, в надежде и уверенности».

Вернувшись домой, зашиваю первым делом валик, запихав в него кухонную тряпку. Ложусь. Долго ворочаюсь.

Поутру, бреясь, передумываю случившееся на свежую голову. Кагэбэшники шли наверняка — это несомненно. И когда меня вызывали, о погребке, скорей всего, знали уже. И я, может быть, напрасно переполошился? Но кто мог заложить? Чтобы кому-нибудь сказала — нет!

С этими раздумьями пришел к Нине Карловне.

Торкаюсь — заперто. Стучусь — молчок. На работу ушла? Направился было к выходу, вдруг: почему же Никитки не слышно? Выгулять его вышла?

—

А она в то время уже в закутке мамином стояла. Спиной вдоль шкафа. Подбородком к горлу, руки брошены!!! У ее ног, задрав морду, закаменело сидел — не шелохнувшись — дружок ее последний.

—

Где я околачивался весь тот день, убей не помню. Помню себя у сестры

своей, то есть ее помню, схватившуюся за голову и забившуюся в крик.

Похороны. Ослепительное мартовское солнце в бурлящих по улицам ручьях. И заспинные толки: о звонке из КГБ главврачу: «Предупредите, чтобы никаких венков с работы. Не надо несчастный случай превращать в демонстрацию. Вы меня поняли, надеюсь?» О «каком-то военном, что приезжал забрать ее собачонку», спрашивали у вызываемых в КГБ. И заодно: «Кто это на кладбище шутковал над памятником академику Вавилову? Дескать, памятник-то над бутафорской могилой».

Но все это не диво. Другое душу рвет — кто заложил?

Неужто же...

* * *

Яну Буриштынович.

«Ожидаю ответных песнопений».

(Из ее письма)

Хоронил я Людмилу Борисовну от Петрозаводска до Ленинграда и обратно. Любимицу дорог — доро́гой!

Рейса на Саратов не оказалось.

Сегодня девятый день.

Саднит сердце неответ на ее последнее письмо. Она не сразу написала, и я не поторопился.

Чтобы телеграфировать лежащей на столе через стоящих вокруг: «мы оба верили в слово как же прощаться мне с вами бессловесно заменимых нет и никто не заменит мне вас».

Мы и начались друг для друга со слов. Я проживал в Саратове, она — в

Марксе. Ей обо мне, мне о ней литераторы московские рассказали (Раиса Орлова и Лев Копелев):

«Домишко-развалюха, представьте себе, а в нем вдоль и поперек стеллажи, набитые книгами, а между стеллажами мотороллер. Все! Ну, стол, койка, конечно. Учительница. Подвижница. Фамилия Магон. Дали ей номер вашего телефона».

Вскоре голос из телефонной трубки, едва расслышиваемый:

— С вами говорит...

— Кто, кто?

— Маяковский, Ахматова, Горький, Оксман, Некрасов.

— Людмила Борисовна! Приезжайте.

— Давайте, не я к вам, а вы ко мне. Приятельница, у которой останавливаюсь в Саратове, в отъезде как раз. Ни мы никому не помешаем, ни нам никто.

Являюсь.

— Это вы и есть? Здравствуйте, Людмила Борисовна.

— Это я и есть, Борис Яковлевич. Здравствуйте. Проходите. Не торóпитесь? Очень хорошо. Все торопятся куда-то.

Интеллигентное под крестьянским загаром лицо. И внимательные светлее загара глаза. Приземистая. В подростковой курточке и ботинках того же пошиба.

Присаживается к столу. Одну ногу под себя, другой до пола не достает. Закуриваем.

— Вы в Саратове давно. Я не однажды слышала о вас, а вот чтобы познакомить, москвичи понадобились.

Гасит сигарету, поднимается со стула:

— Чаем буду поить вас. Вы как насчет чая?

Себе наливает, ну чистый чифирь!

То, что в тишайшей Людмиле Борисовне черти водятся, что за рулем удержу она не знает, откроется мне потом. А в ту первую встречу нашу, увидев у двери мотокаску на мокром рюкзаке, я удивился:

— Да вы не на мотороллере ли?

— Своим ходом.

— В дождище-то!

— А что такого?

Людмилы-борисовнино «а что такого?»!.. Когда за ее рассказом о полюби-

вшемся ей Крыме — «вода, зной, змеи ползают» — кого-то передернуло, она вот так же: «А что такого? Мы подкармливали одну».

Своим ходом она и не одна, с ребятами ездила в Рязань из Маркса. К Солженицыну. Самого не застали. Принимала их теща его.

Эту первую встречу часиков шесть просидели мы у раскрытого в зелень окна, как на дне морском.

—

А вот Людмила Борисовна у другого стола, за другим окном. Обледенелым, заиндевелым. Это в Тарханах, в прицерковной сторожке.

Ворот у нее распахнут, рукава закатаны, а в валенках. Натоплено жарко, а с пола стужей тянет. Читает стихи собравшимся у нее:

Пройдемте по миру, как дети,
Полюбим шуршанье осок...

На этих строках я и открыл дверь.

— Ууу! Ямполец приехал!

—

Кроме книг и мотороллера Людмила Борисовна сына еще имела, Борьку. Растила по своему уму-разуму. Обнаружила у тринадцатилетнего матерщинный стишок, положила перед ним:

— Прочти-ка мне. Ну, что же ты? Переписать мог, а прочитать не можешь?

Яну, недавнему ученику своему, теперь студенту, когда его угораздило угодить в отцы, и требовалось жениться, посоветовала:

— Не делай этого, Ян.

«У Люси мужская психология», — было сказано тогда ближайшей приятельницей ее. Другой раз она же: «Матери у Бори и не было никогда!»

С таким же успехом можно было сказать: не было и учительницы у учеников Магон.

Не по учебникам учила, по себе учила.

Чему? Презренью к бытовщине в обход родителей, дружескому избранничеству в пику казенной коллективности, пониманию искусства как четвертой стихии — после земли, воды и неба, — а не как оружия в борьбе.

Надо было видеть, как она, ученица Оксмана, по-цыгански запросто садилась на землю, учительница эта. Как мимо наплескивающейся на бережок воды пройти не могла, не побултыхав хоть рукой.

А плавала как! Мечтательно, я бы сказал, плавала. Не искупаться к реке шла — пожить в ней. Тоже и с деревьями — жила. Любила клены, а к соснам и елям равнодушно относилась: «зимой и летом — одним цветом, все им хоть бы хны!»

«На просторах родины широкой», доступных если не ногам, то колесам, и главные уроки своим ребятам давала.

Неизменная картошка из костра, чтенья вслух, песни, ночевки под открытым небом, а когда дождь — в сараишке в каком-нибудь.

Сверх школьной программы учила, и получала сверх зарплатной ведомости. Вчерашние ребята, девчата, выросшие каждый в свою жизнь и разъехавшиеся кто куда, съезжались потом под крышу ее развалюхи. При этом один ворота

починит, другая подписные издания выкупит ей. Тот геолог, та преподавательница и замужем.

Из одновозрастных и старших друзей Людмилы Борисовны все досадовали: «Ну что сидит в дыре в этой? Диссертацию, что ли, не могла защитить? Защищают которые в подметки ей не годятся!»

Могла, конечно. И не то чтобы — не хотела. Но такого, как у других, хотения не было. Иное влекло. Живое общение с горько нуждающимися в ней.

Вот спецшкола — колония для малолетних преступников. Последняя работа Людмилы Борисовны.

Организовала ПиМ — поэзии и музыки кружок. «Главное назначение кружка — общение».

«Обстановка в колонии, — рассказывает, — страшная! Воспитанники, например, заталкивают младшего в тумбочку и выбрасывают в окно со второго этажа. А воспитатели „морализуют" с применением ключа по голове или проволочного хлыстика с плексигласовой

наборной ручкой по строю вытянутых ладоней. Называется: „давать интервью". Выражение одинаково загадочное как для воспитанников, так и для воспитателей».

Берет Людмила Борисовна мальчика-нарушителя вместе с другими кружковцами в осенний лес. И получает за это выговор. Объясняет начальству: «У мальчика абсолютный слух и чистейшего тембра голос. В кружке он разучивал песенку Чайковского „Осень". Как было не взять? За зоной с мая месяца не был. А нарушение его — чинарики!»

Ей на это: «Тембр, слух сюда не касательно, и прекратите заниматься отсебятиной!»

Больше, чем «отсебятина», раздражала начальство внешность Людмилы Борисовны — «баба в штанах и шибко образована».

Да, в штанах, да, сигареты в кармане. Но когда слушала старинные романсы с пластинок, то ты ей хоть черный веер в руку! Проступало что-то давнее, неутоленное... Обернувшееся дружеством.

Дружить была одарена — до море по колено, до в огонь и в воду. Сияла в дружбе.

А вне дружбы тускнела до здравого смысла.

Не учительство, не родительство, дружество стало ее уделом. И учительствовала и родительствовала — дружа. С кем как. А с кем никак, перед теми беспомощной оказывалась и недоброй.

Времени около часа ночи. Я уже в постели. Читаю.

Комариный звоночек в дверь.

— Ба! Людмила Борисовна! Прошу.

— Тсс. На улице подожду. Ночь — чудо. Под крышу не хочется.

А дело не в крыше, конечно. Нарываться на вежливость жены не хочется. Людмила Борисовна — ненавистница «класса жен».

Бродим по ночным улицам, нет-нет да обдаваемым клубами водяной пыли из поливальных машин.

Она только что из поездки.

Борьку вымыла, уложила и — ко мне. «Не может быть, думаю, чтобы спал

уже. А поездка не без приключений». За Пензой, когда темнеть уже стало, сцепление полетело. Борьку при мотороллере оставила, сама деревню пошла искать.

Вышла на компанию у костра. Слово за слово, приглашают ушицы отведать. Сотрудники Тарханского заповедника оказались. На ловца и зверь. Предлагают работу. И жилье обещают со временем.

— А на первых порах прицерковную сторожку. Дверь в дверь со склепом поэта. Представляете? Церковь, тишина, только грай вороний на закате — чудо! Остров жизни среди хляби всеобщей. Переезжать? Как вы думаете?

Людмилу Борисовну из школы инспектором гороно намереваются забрать.

— Что я теряю? Квартира в Марксе, пока мама жива, за мной остается. А?

Через год уберут и из Тархан.

—

И навалилась усталость.

«Живу преимущественно в обществе собак. Пегашка произвела потомство.

Вылакивают три литра молока в день, и я стою в очереди за молочным пайком. (...) Читаю архаическое и вечное».

«Поселиться бы вместе где-нибудь, одним домом. Цветник бы развели, по вечерам Борис Яковлевич стихи бы нам читал (...)».

Из последнего письма:

«Мимоза усатая (Это я, значит. — Б. Я.), обещался, вроде бы, нарисовать нечто, подобное тем автопортретам, которые меня так восхитили. Я бы с несказанным восторгом лицезрела его тощейшесть, слышала его рокотание и стихоизвержение. Но, прямо по песенно-романтическому шаблону, нас разделяет полярная ночь и все, что за нею стоит...»

—

Последним пристанищем Людмилы Борисовны явилась бумага.

«Вроде бы что-то начинает вытанцовываться письменное. Та страшная реальность, с которой имею дело в спецшколе.

И отступает ощущение бездонной тоски, какая бывала. К привычкам бытия вновь чувствую любовь (...). Самые

счастливые миги утренние, когда обливаюсь ледяным и вижу небо, какое оно. Ощущаю кожей свежесть, холод воздуха. Вижу старые запущенные яблони (мамины!) и бурьянистый сад, двор. Еще — ветки, сплетение веточное».

«Выходной день начинается такими разнообразными заботами, что только ой-ой-ой! Но все равно поеду в мокрый лес. Для душевной профилактики. Поеду на „Вятке", в которую мой золотой механик Василий, вернувшись из заключения (везет мне на правонарушителей), снова вдохнул жизнь.

«Но так писать можно без конца, все равно что калмыцкую песню петь... Ожидаю ответных песнопений!»

Ответных песнопений не дождалась.

Инсульт хватил.

За день до инсульта в спецшколе мальчик повесился.

«Я чужестранец здесь, — читаю сегодня у Гамсуна, — я каприз Бога, если хотите».

И дальше: «Эти чужестранцы, эти бродяги Земли — необходимые звенья той жизни, к которой они приближают человечество, может быть, одним своим появлением».

Да пусть и не приближают, пусть и мираж она, та жизнь. Или так уж мало очеловечивание сегодняшней?

Янчик! Кликните там, чтобы скинулись, кто может, по словечку о Людмиле Борисовне, какой была кому и осталась.

Чтобы кому и не была — стала.

Смертью не кончаются, нами бы не кончилась.

* * *

На ночной безлюдной улице меня окликают издали:

— Молодой человек, у вас найдется закурить?

Останавливаюсь. Подходит.

— Ой, извините, папаша! Спасибо, папаша.

* * *

Сумерничаю при микрофонарике, прищепленном к книжке, чтобы не засветиться на улицу окнами. И ни на звонок в дверь, ни на телефонный не отзовусь.

Меня нет дома. Ни для кого, кроме нее. А она объявится снежком в оконное стекло.

* * *

Не такой уж и долгой показалась мне нынешняя зима, а увидел первые проталины — настроение подскочило, как у Колумба: «Земля!»

И отправился я из Ленинграда в Петербург. По накопленным за зиму адресам.

Пересекаю Исаакиевскую площадь, навстречу «наш муж».

— А я к вам, — говорит.

— А я к князю Петру Андреевичу Вяземскому. Пошли? Или у вас что-нибудь?

— Премиальная аукнулась, и вообще...

— А вообще что?

Заканючил: и сослуживцы сволочи, и соседи-то подонки.

— И скучища, деваться некуда.

Это на петербургских-то улицах скучища вам? А почему? А потому что видите голой физикой глаза, слепая вы душа!

Вон дом с балконом над подъездом, против Исаакия. Что он вам? Управление какого-нибудь Гипро-лен-пром-громмонтажа, и все тут. Одни совслужащие туда-сюда дверями хлопают.

А на этом балконе Дидро стоял! Носатый, в камзоле и чулках. Дом Нарышкиных это. «Они так добры со мной, — писал Дени жене, — как с братом».

А за углом — дом Набокова... Да что говорить! Вы же грамотный человек — скучища вам в городе «духовным всей тьмой перебывавших душ».

Кому это Вяземский:

Пусть наша память, светлой тенью
Мерцая на небе живых,
Не будет чужда поколенью
Грядущих путников земных...

Не путник вы земной, сиделец вы конторский!

Вру, конечно. Ничего подобного я ему не сказал. Подумал только.

* * *

У моей единственной соседки по коридору, семидесятипятилетней учительницы литературы, полуслепой Юлии Михайловны, «всего что осталось развлечений в жизни — это радио и теперь вот Борис Яковлевич». Которого она окрестила «старьевщиком». За мое пристрастие к старине.

Сама целиком в дне сегодняшнем, в «последних известиях». И медом не корми, любит поделиться со мной.

— По моему радио, — скажет, — вот что и вот что. А по вашему?

И хотя на сообщения моего радио спешит возразить, заинтересованность ее не ослабевает...

А тут как-то шаркает, слышу, шлепанцами по коридору, рукой за стеночку — на кухню. Где мы с ней и общаемся чаще всего, кулинарничая каждый себе. И из-за порожка спрашивает, глядя мимо меня:

— Вы здесь, Борис Яковлевич?

— Здесь, Юлия Михайловна.

Она входит, садится на табуретку у своего столика:

— Слышали бы вы, какое стихотворение читали сейчас по радио, это что-то необыкновенное! Про таинственную красавицу всю в драгоценностях и в шляпе со страусовыми перьями. Чье — я не расслышала.

Не «Незнакомку» ли Блока? — говорю: — «И шляпа с траурными перьями, И в кольцах узкая рука...»

Юлия Михайловна моя аж руками всплеснула:

— Ну надо же! Знает! Все знает!

* * *

Беда в том, что спутница моя — жена одного из молодых, почтительно приятельствующих со мной.

Заглядываю к ним как-то. Открывает она, выйдя из ванной, видимо. И, смущенная:

— Здравствуйте! Извините, прошу... Я сейчас.

Сама в ванную обратно.

Тут же дочка ее, первоклашка. Заглядывает к ней и, хитрюще прищурясь, шепчет:

— А что это ты такая радая стала?

Радости эти начались, что называется, с первого взгляда. А встречи наши один на один, всегда случайные как бы, но умалчиваемые почему-то — с прошлой осени.

Выгуливающие вдоль Крюкова канала собак успели привыкнуть уже, а иногда и заговаривали на собачьи темы с длинным, в роговых очках, в усах, в се-

деющих патлах на поднятом воротнике изрядно потертого пальто реглан. Который, случалось, звонил, оставив своего псенка за дверью телефона-автомата.

Это был я. Я звонил ей. Из своих пятидесяти пяти в ее двадцать восемь.

Набирал на вертушке номер, если занято было — ждал, глядя на мокрый асфальт, почти сплошь утоптанный кленовыми листьями, такими ярко-желтыми, что желтизна их и под низким тяжелым небом создавала иллюзию солнечности.

В тот день она мне — через весь город на ухо:

— Поехали за город куда-нибудь, ну хотя бы в Ораниенбаум.

На что я ей:

— В выходной-то!

— Ну и что ж, что выходной? Кто туда в такую погоду! Ну поехали, ну пожалуйста.

Часа не прошло — я на Балтийском вокзале. Следом она, раскрасневшаяся, с сумкой через плечо, шарит меня глазами среди пассажиров. Встретились взглядами. Я, не торопясь, закованный

в личину, подобающую возрасту моему, улыбаюсь ей. Она сникает, подбегая:

— Зачем вы так! Меня пугает эта ваша манера.

Меня пугала ее безоглядность.

Она мне:

— Все равно ведь раньше или позже откроется!

— Хорошенькое дело, — гужу я, — и что тогда? С поезда на карусель пересядете?

До сих пор сходило нам как-то. Не за горами отпускное время. Всеми правдами и неправдами клоним к тому, чтобы вместе куда-нибудь. Сойдет ли теперь? А на нейтральной полосе цветы необычайной красоты.

* * *

Где нам рады, там мы и у себя. Та и земля наша, где нам рады. Так приобрел я лет пять назад деревеньку Веськово, что под Переяславлем-Залесским.

А занесло меня в Переяславль с тогдашней женой моей к приятелю.

Когда-то немалое княжество, ныне захолустный городишко обворожил меня крутейшим крепостным валом, вечным сном его под укрывом травы.

Взошел я на ту крутизну тропинкой наискосок и пошел, и пошел себе по траве-мураве в поднебесье, один на один с вечностью. Кроме меня козы только паслись там-сям при колышках. Набродившись, прилег покурить. А из-под брюха близко подошедшей козы главки собора виднеются с дальнего взгорья. Горицкий монастырь это. Детище Ивана Калиты, ханом сожженное, женой Донского отстроенное заново, где потом Петр останавливался на пути к Плещееву озеру, к судоверфи своей, стучащей топорами, визжащей пилами, чадящей горячей смолой.

Теперь и там тишина, полная прошлым.

В той-то тишине и лежит деревенька Веськово, бабка Киселева живет.

Первая же встречная, сухонькая да речистая, она и пустила нас погостевать у нее.

Шестнадцати годков не было — под венец пошла. Сказать по-нынешнему, замуж выскочила. А повстречала его, судьбинушку свою, в церкви. На престольный праздник дело было.

Чернявый да румяный стоял он поодаль от меня — ну чистый херувим!

Вышла после службы из церкви, не вижу куда иду. Вижу, иконки продают. Купила я ту, что и сейчас — вон она. Пришла в избу, брякнулась на пол перед ней: «Отдай, Пресвятая Дева, ни за кого не хочу, за него отдай, век молиться на тебя буду».

Она и услышь молитву мою.

А херувим-от мой, как дети пошли, попивать начал, озорничать. Дальше — больше. Ему и слова уж не скажи поперек, отходит тебя сейчас, как знает.

Когда первую девчонку родила (до того все парни были), стою однова вот этак вот, к печке прислонясь, и думаю: не надо бы мне мужика-то больше, на что он теперь, мытарство одно. И к Пресвятой Деве опять: «Забери ты его от меня, заступница, пропусти скрозь машину». Ни мне и никому чтобы! То есть и чужой бабе не достался, значит.

Вчерась подумала этак-то, а сегодня возьми и грянь война!

Полгода не прошло — похоронку получаю.

Слава тебе, Господи, отмучилась.

Да! Так! Ведь, Борис Яколич, поверишь ли, синяки не простывали на мне, детей крадучись кормила, на войну уходил, последний чайник грохнул об пол. Это человек был, я тя спрашиваю?

А когда — после войны уже — за неуплату долгов в суд меня потащили, швейную машинку грозились изнулировать — все богатство мое — я им, судьям-то: за то ли, говорю, мужик мой жизнь свою положил, вдовой безутешной оставил меня, детей малых сиротами?!

Да! Так! Чего дергаешь головой? Какие козыри на руках, теми и бьем.

Кто иначе разве? Ты, может, иначе?!

И засмеялась во весь рот — красный язык, как на ладони, за остатним зубом.

Прошло пять лет.

Оказавшись в Загорске опять, как не вспомнить было Веськово, бабку Киселеву мою — как она там, жива ли, здорова ли? Одна загвоздка: явлюсь-то с другой. Что скажу, спросит: куда ту девал? А как же не спросит?

Однако являемся. Из Загорска до Переяславля автобусом, от Переяславля до Веськово пехом, да по жарище. А изба на замке, и ставни закрыты. Вот тебе и на!

Присаживаемся на крыльце в тенечке — отдышаться. Слышу шебаршение какое-то за избой. Поднимаюсь посмотреть. Сараишко раскрыт, вижу. Кто-то сено сгребает вилами. Громоздит выше головы.

Вглядываюсь из-под солнца в пыльный сумрак: *она*! Подол за пояс заткнут, косынка на глаза съехала — орудует почем зря.

— Бог на помощь, Киселева! — шумлю ей обрадованно.

Приостановилась, опершись на вилы, косынку вздернула:

— Ба-а! Да никак Яколич? Какими ж ветрами тебя?

— Исключительно по старой памяти.

— Шутишь? Али правда? Ну, тогда в горницу давай.

Отставляет вилы, одергивает юбку:

— Один али с женой опять?

— С женой-то с женой, — говорю, а на языке готово уже «да не с той»... Но в этот момент увидела бабка кралю мою и мимо меня к ней:

— Здравствуй, милочка, здравствуй, голубушка, ну-ка на тебя погляжу. Да ты, смотри-кась, еще красивше стала! Вот что значит за хорошим мужиком жить. Пошли-ка, пошли в горницу.

И открывает дверь, милочку-голубушку вперед себя толкает, а меня за рукав и назад тишком:

— Как, бишь, звать-то ее? Запамятовала совсем.

Так и осталась бабка в отрадном заблуждении на мой счет.

* * *

Детей у тетки Настены мал мала меньше, семеро по лавкам. Сунулась она в печь кашу протведать — не напрела ли, а младшенький тут как тут, за подол ее:

— Мамк, а мамк, че ты йишь?

— Да погоди ты, ниче я не йим.

— Не йишь? А че у тя уши трясутся!

* * *

На пироги в семью районного хирурга приглашены были. Он — хирург, она — акушер-гинеколог, двое ребятишек.

Дом — полная чаша. И такой шик-блеск, чистота-порядок, что ступить робеешь.

За стеклами книжных шкафов корешки подписных изданий поблескивают новехонькие.

— Читать-то некогда, наверно? — спрашиваю.

— Когда тут читать! — несколько смущенно говорит тихий хозяин. — Детям собираем.

— А им-то будет когда?

В разговор встревает хозяйка, бой-баба:

— Борис Яковлевич, зачем забаву делом представлять? Я понимаю, когда книги по специальности, а так, без всякого... Начитанный, восхищаются, начитанный! Ну и что с того, что начитанный? Для жизни-то — что?

— Смотря для какой жизни, — только и сумел ответить я.

* * *

Какая он находка на склоне лет моих — «старик Шаров», мой милый Шера.

Только что проводил его, вернулся с вокзала.

В комнате бедлам. Грязная посуда, окурки в тарелках, у края стола половая щетка над кучей мусора. Хотел подмести, когда он вышел на минутку, не успел.

А входя, он заявил с порога:

— Ну вот что! Хватит разглагольствовать! Дайте мне те «строчки», без которых вы «ни дня».

Тут-то я щетку бросил, где стоял, схватил «Ни дня без строчки». Закладываю спичками страницы.

Стоим оба, как петухи на ристалище.

Берет, читает — одно... другое... третье...

— Хорошо, прекрасно! Но игрушки же, очаровательные игрушки, и все тут! Мне от него мало этого. Мне что вот

тут вот, — тычет пальцем в интервал между записями, — тут вот что... надо!

— Понимаю. Но на нет суда нет! А есть и пребудет прекрасным, будь то «Один день Ивана Денисовича», будь то «Я никогда не был на бал-маскараде».

«Оскомина на пальцах» (от обоев), «унылый вкус воды» (когда приходится пить), «улепетывающий лилипут», и целая книжка такого всякого! Мало?!

— Все! Довольно! Иначе поссоримся!

— Э-э-э нет. Поссориться не выйдет. Предпочту сдаться на милость. Даже ямбом подсюсюкну.

Помолчал, отмякая, и заулыбался.

— Дойдем до рюмочной? Нет-нет, по сто грамм, не больше.

Теперь он спит в «Красной стреле». А я прибрал грязную посуду, доподмел комнату и присел к столу...

* * *

— Невежда! Надо знать, что Одесса четвертым городом империи была — после Петербурга, Москвы и Варшавы. Четвертым городом империи, а не южной провинцией. Вы, я вижу, большой любитель книжек. Это все — ваши? А вторую в России Публичную библиотеку — после Императорской Петербургской — где мы имеем, вы знаете? Так что же вы знаете за Одессу? Что на Дерибасовской открылася пивная? И вы еще будете ухмыляться мне за Одессу-маму?! Ухмыляйтесь лучше за себя.

Так отчитал меня старик одессит, не успел я ступить с моей спутницей на одесскую землю.

Каменным крабом лежит этот город на высоченном крутом берегу черноморской бухты. Два пригорода его — левый и правый, Пересыпь и Молдаванка — две его клешни, едва не во весь размах которых — порт.

Фасад города — Приморский бульвар. С Приморского бульвара стопятидесятиступенчатая лестница от памятника Ришe-

лье спускается к центральному пирсу — она и есть парадная лестница Одессы.

А ее черный ход — железнодорожный вокзал.

С черного хода жарким июньским днем мы и пожаловали. И как только выбрались из привокзальной толчеи, так и пошли, и пошли — остановиться не могли! — улицей платанов в их просторной тени с прорывами солнца на перекрестках, улицей балконов в диком винограде, двориков в диком винограде, улицей, раскатившейся от привокзального сквера до цветущего Приморского бульвара — до самого синего моря.

Просыпаемся с первой над окном пичужкой, настраивающей свою тонюсенькую свистульку. В заревой прохладе двора окупываемся из-под колонки, вспоминая Александра Сергеевича — его: тут недостаток важный — чего б вы думали? — Воды. И отправляемся на свиданье с городом.

В рассветной пустынности улиц он весь как на ладони — каждой лепниной, каждым карнизом к твоему вниманью. Солнце и крыш не коснулось еще, обещается только где-то. И такая тиши-

на стоит, что сипенье забытого на газоне шланга далеко-далеко слышно.

Набродившись, наглазевшись, заглядываем в открывшуюся дверь кофейни. Перед нами загораживающий проход стул убирают.

— Прохо́дьте, сидайте.

Проходим, садимся у окна под выдуваемый сквознячком тюль. Две официантки, обслужив нас, поглядывают на странную пару, перешептываясь. На свежатинку, мол, потянуло седовласого очкарика. Нет чтобы девушку с глазами дикой серны вспомнить, что полюбил суровый капитан. Совсем другая музыка бы.

А по городу уже машины замелькали, заспешили прохожие — одни с авоськами, другие с портфелями — кто куда. Одесса загалдела, горластая.

Слушаем:

У овощного киоска:

— Почему у вас салат с землей?

— Потому что который на небе растет, не завезли еще сегодня!

У отделения милиции:

— Привет! Пришел все-таки!

— Нельзя же быть свиньей, когда приказывают.

На Привозе:

— А в Ленинграде у вас почем?

— 30 копеек с бутылкой.

— Та нет! Я же говорю коровье, а не магазинное.

Выясняем у прохожих, какая улица какая:

— Ленинская это какая?

— Ришельевская.

— Ласточкина это какая?

— Лонжероновская.

— Какая теперь Дерибасовская?

— Дерибасовской и осталась. Переименовывали тоже, не поддалась.

Из местной газеты узнаем, что куда бы ни занесло одесситов — восстанавливать ли разрушенный землетрясением Ташкент или доставлять полярников в Арктику — они на своих временных жилищах вывешивают таблички: «Дерибасовская».

Так въелся здесь этот де Рибас, что оторвать его от Одессы — все равно, что Одессу — от моря.

«Кто у вас на Арбате умник, у нас на Дерибасовской еле-еле идиот».

А он — уроженец Неаполя. Сын испанца и француженки. Восемнадцатилетним пришел в русскую армию служить

Екатерининской империи — просвещенной монархии, о которой Вольтер кому-то из русских писал: «Я боготворю три объекта: свободу, терпимость и Вашу Императрицу».

Саму землю под этот город вырвал у турок. «Браво, дорогой генерал! — писал фельдмаршал Репнин, — Тульча Ваша, и Вы, так сказать, у ворот Измаила! К Вам идут, как некогда стремились в Афины. Все хотят сражаться под Вашими знаменами».

Суворов ему: «Ваш план и проект превосходной гавани очень хорош. Вы там начальник и хозяин, а я Ваш помощник».

Саму идею города отстоял у ее противника адмирала Мордвинова. И первые здания поставил, улицы вымостил лавой Везувия. Первые парусники уходили отсюда с пшеницей, возвращались гружеными (для устойчивости) плитами лавы. Поныне уцелевшими, кстати, и в нашем дворике.

А памятник ему во двор краеведческого музея спровадили, да еще лицом к нужнику. Куда же вы смотрите, одесситы?

Но я отвлекся.

А нас ведь Юрий Карлович ждет. Ждет, зовет черным по белому: «Милый читатель», растолковывает куда, как к нему пройти. А дней у нас — с гулькин нос, и надо кругом-бегом, хоть глаз сунуть.

Ищем Польскую улицу. Она за Строгановским мостом где-то, перекинутым через нижнюю, сбегающую мостовой к морю. Находим мост. Находим Польскую. Останавливаем пожилую даму с палочкой. На наше:

— Не скажете ли?.. — и так далее — ее неожиданно бойкое:

— Скажу! В нашем дворе. И помню этого шалопая. Вечно мяч пинал под моими окнами. Пойдемте. Вон их балкон.

И заковыляла.

На лестничной площадке второго этажа молодая женщина ждет нас, за ней в дверях муж, видимо.

— Вы к нам?

— Мы к Юрию Карловичу, здравствуйте.

— Здравствуйте, но такого здесь нет.

— Был! И значит, пока дом стоит, будет! Никого не будет, а он будет!

— Ой, простите! — засмеялась, сообразив, — Вы Олешу, видимо? Знаем, конечно, знаем! Проходите. Ну как же, читали. И «Трех толстяков», и рассказики. Вы родственники?

— Ни в коей мере.

— Чем же он вам так уж?

— Хоть не в моей совсем натуре, — говорю, — трибуной тешиться в пути, но эту дань литературе и здесь приходится нести. Вы вот видели, конечно, и не раз, мошкару вокруг лампы летним вечером — кто не видел? А на самом деле — никто, кроме Олеши! «Весь этот зеленый балет длинноногих танцовщиц, равномерно поднимающихся и опускающихся, точно они соединены невидимым обручем, иногда постукивающим по стеклу абажура».

Собеседники радостно смеются, просят еще что-нибудь. И я им о женской полумаске. «Я никогда не был на бал-маскараде. Однако помню приятное ощущение, которое переживала рука, когда брала маску. Я имею в виду черную женскую маску. Вернее полумаску. Она была снаружи черной, внутри белой, и

гораздо была милее с той, с обратной стороны. Эти белые атласные впадины на месте носа и щек казались почему-то формой некой улыбки, причем улыбки молодого красивого лица.

Она падала на стол, когда вы ее бросали, с почти неслышным стуком. Она была сама легкость, само изящество, сама любовь. Она танцевала, пела, смотрела на вас.

Может быть, мало что из предметов было так прекрасно, как маска. Она была женщина, Ренуар, сновидение, она была „завтра", она была „наверно", она была „сейчас, сейчас, подожди, сейчас..."»

— Откуда это? — спрашивают в один голос собеседники.

— Из «Ни дня без строчки», — говорю я и взглядываю на часы.

Мы нехотя прощаемся, довольные друг другом, и, обменявшись адресами, уходим:

— Будете в Ленинграде, милости просим.

— Один мой сослуживец, реставратор, — говорю спутнице, вспомнив Влади-

мира Сергеевича Банниге, — из XVII-го века выбегал в XX-й зарплату получить. Как мы сейчас от Олеши — в забегаловку заморить червячка. (Утром — чаем с калачом, вечером — чаем с калачом, в обед — калачом со свекольником.)

А из забегаловки — в поиски кого-нибудь из Добродеевых (через Горсправку). Помните: «Ты опять, Добродеев, всплываешь в темном пространстве закрытых век... Вот ты выбегаешь из своего трактира, бритый, подвижный, с голой головой — скорее похожий на ксендза, чем на хозяина трактира, где носятся волны чайников, оседающие то тут, то там — волны чайников с травой, рыбами и птицами.

Помнишь ли ты меня, Добродеев? Я был тогда мальчиком, и ты как-то заметил меня — во всяком случае, смеялся вместе со мной по забытому мною поводу... Чайники летали, и с них не сыпалась трава и не сползали рыбы. Я стал писать на языке, на котором писал Пушкин, и на котором царь поздоровался со мной, сидя на лошади.

Все хорошо, Добродеев. Скоро я буду черепом, и меня не отпоют в костеле на

Екатерининской, куда ты, хоть и православный, а заглядывал, потому что хотел увидеть, как идет из темноты платок Марианны, которую ты любил».

И вот перед нами немолодой правнук того Добродеева! О «писателе Алёше» он и не слышал, а от прадеда единственное, что осталось...

— Одна секундочка! — говорит и идет в другую комнату, приносит нам, развертывает вчетверо сложенный:

— Вот, может заинтересует? —

«ПЛАН ЕДИНСТВЕННОГО И БЛИСТАТЕЛЬНОГО ГОРОДА ОДЕССЫ, ИЗГОТОВЛЕННЫЙ В КАРТОГРАФИЧЕСКОЙ МАСТЕРСКОЙ ИМЕНИ ВАСКО ДА ГАМА»!!!

Мы рады, мы смеемся. Мы и этому рады. В конце концов неважно, — говорит Юрий Карлович, — чего ты достиг в жизни — важно, что ты каждую минуту жил.

Теперь куда?

В Ришельевскую гимназию, где Юрий Карлович учился с «испанцем Колькой Кальсада». А я, кстати, и до сих пор

словно горжусь этим, с Николаем Николаевичем отбывал срок наказания.

Вот оно — двухэтажное, с окнами в толстых стенах, построенное, может быть, еще при Павле, когда Одесса была совсем молодым городом. Мы поднимаемся по чугунно-кружевной лестнице (ныне фармацевтического училища). За дверями занятия идут, тишина. Откуда-то навстречу нам пожилой мужчина.

— Вы что хотели? — приостанавливается.

— Вчерашний день ищем, откровенно говоря.

— В поисках утраченного времени, значит!

— Именно так! Не возражаете, надеюсь?

— Боже упаси. Сам любитель...

В этот момент звонок на перемену. Он огорченно развел руками:

— Извините. Рога трубят, — и заспешил.

Из дверей стала выбегать ребятня. Мы спустились во двор. В голый двор — ни деревьев, ни скамеек. Но именно сюда привела его бабушка держать вступи-

тельные экзамены. И они среди таких же абитуриентов с бабушками стояли под деревьями, «с которых падали листья». И этот день остался в его памяти «живым и сияющим, объединенным именно с бабушкой — да просто принадлежащим ей — ее днем, днем ее памяти».

Помянув, мы отправились на кладбище (Катаевых нашли, Олеш не нашли), а по пути заглянули в костел на Екатерининской. Там, где хотел быть отпет Юрий Карлович, погребен, оказывается, наместник Новороссии Лонжерон, тот самый, что, поймав поэта за полу, душил трагедией в углу. Теперь над его прахом спортзал — турники, кольца, брусья. «Чтобы тело и душа были молоды, были молоды». Словом: «Закаляйся, как сталь!»

И, наконец. Мне хотелось проститься с Одессой по-олешински — дорогой на Лонжерон. За той аркой, куда можно было сбежать и обрывами, густо заросшими бурьяном, где «плавали, подпры-

гивая к берегу и тут же отпрыгивая от него, консервные банки, старые башмаки... Можно было увидеть и седло, распустившее по воде свои кожаные водоросли».

А увидел я, вместо заросшего бурьяном берега, вполне цивилизованный пляж: шезлонги под тентами, киоски с прохладительными напитками, загорающих, купающихся.

Казалось бы, плохо ли? Ан в том-то и печаль...

— Искупаемся хоть, — предлагает спутница, заметив мою скисшую физиономию.

— Купайся, — говорю, — а я посижу.

Ночью поезд. Отужинаем в ресторации и — на вокзал. А там каждый под свою крышу. Отчего грустновато немного, хотя и понимаю: так-то оно и лучше, чем — под общую. Несравненно. Так что...

«Прощай, дорога на Лонжерон, прощай!»

Свободных вдвоем не бывает.

* * *

Подсели ко мне в такси (из аэропорта ехали) две бабенки, товарки по пивбару.

Морды под кремом, не морды, а торты. Ягодицы в тугих юбках, как поросята в мешке, только что не хрюкают.

И в золоте обе. Кольца, серьги, кулоны.

Одна с курорта, другая встречала.

Обе рта не закрывают. Особенно словоохотлива встречавшая.

— Вчера какой-то алкаш прямо в зенки плеснул, всю кофточку залил, сука, только раз одеванную. А домой пришла — от своего фингал схлопотала.

Вдруг засмеялась:

— Зато утром теще: «мамаша»!

И заголосила:

— Подружка моя, я тебе советую: никому ты не давай, залепи газетою...

Проезжаем черемуховые заросли.

— Останови, милок! — кричит таксисту. — Дай наломать, и тебе будет, своей отвезешь.

Выхватывает из сумочки пятерку, сует ему.

А мне:

— Вы не очень спешите, товарищ? Извините нас, такие уж мы веселые.

Милок останавливает. Выбираются. Наломали цветущих веток. Влезли обратно и в два горла:

— Пейте пиво, пейте квас, рожи будут, как у нас.

По-ехали.

* * *

Иду за бельем в прачечную. На пути толпища у пивного ларька. Из-за угла выбегает шустрый старикашка с бидончиком, вскрикивает на радостях: «Здравствуй, страна героев, страна мечтателей, страна ученых!»

* * *

У раскрытого окна в знойный полдень читаю сижу.

Вдруг потемнело, холодком потянуло. Треснула молния. Тяжелая капля ударила о жесть подоконника, другая, третья.

Пронесет? Нет. Пошел, пошел, да сильный.

Но едва пешеходы распахнули зонтики, разбежавшись по подъездам, подворотням, он и прекратился. Солнце снова. Снова печет. Парок от мокрого асфальта.

Я читаю письма Пастернака.

Замечательно! «Мне опять захотелось сломать и по-новому сложить свою жизнь. Полтора месяца тому назад я поссорился и расстался с Зиной. Немного помучился и потом поражен был шумом и оглушительностью свободы, ее живостью, движением, пестротой. Этот мир рядом. Куда же он проваливается, когда мы не одни?»

* * *

Громом средь ясного неба — тем, что резвяся и играя — спутница моя ушла от мужа.

Накануне мне:

— Послушай! Не берешь на себя помочь — не мешай хоть, прошу тебя.

Я не знал, как мужу ее помочь (помощничек!), хоть и помнил, что с горем трудно переночевать.

Вскоре Яшка с женой, как с неба свалились тоже. Увидели такое дело... заказывают столик в «Европейской» на широкую ногу, присылают за нами такси, встречают у подъезда, ведут в зал.

Мать честная! Шампанское во льду, коньяки, фрукты заморские.

— Да ты, никак, спятил?

— В соответствии с тобой содеянным, отец.

— Мной, думаешь?

— А кем же еще?

— Вот кем, — киваю на спутницу. — Дон-Кихот в юбке.

— Интересно, кто же ты при этом?

— Росинант я, сынок, не более того.

* * *

Захотелось нам освежиться поездкой куда-нибудь.

— Давай в Кишинев, — говорю, — там и остановиться есть у кого, и Александр Сергеевич, опять же.

Легкие на подъем, раз-два — и мы в аэропорту. Прилетели в полдень, жарища адовая. Чемоданишко забрасываем к знакомым, путеводитель — в карман.

Вход в мемориальный музей через калитку дощатого забора. Посреди вытоптанного, как крокетная площадка, двора — крохотный флигелек в три окошечка на вершок от земли, а дверь заперта. Чтобы заглянуть внутрь, ей нагибаться приходится, мне — хоть ты на корточки присаживайся. Зато без табуна экскурсников. Ходим-бродим одни, каждый со своим Пушкиным...

Присел я в тени забора покурить. Вспомнил смертную жилеточку его на Мойке, 12.

Вдруг, ни с того ни с сего, наитие какое-то, эманация въяве: «Потомок поздний мой придет искать в стране сей удаленной ... мой след уединенный,

Брегов забвения оставя хладну сень,
К нему слетит моя признательная тень,
И будет мило мне его воспоминанье»

Боже мой! Что испытал я, потомок поздний твой, до мурашек по коже.

* * *

Ехали в роддом — тихий снежок шел.

И в приемном покое бело — белые стены, белые скамьи, из белой двери женщина в белом:

— Подождите, вызовут.

Ждали-ждали, а вызвали неожиданно. Заторопили, слова сказать не успел. Помахал только, когда оглянулась.

Потом вынесли вещички, узнал которые по красным пуговкам на ее синем платье, таком беззащитном в казенных руках — не то что дома на спинке кресла.

* * *

Захожу с работы в детсад. Рановато, конечно, но не тащиться же потом опять.

В раздевалке одни дитячьи шкафчики с зайчиками, вишенками вместо номеров. И дверь в игральную комнату приоткрыта: ребятня за столиком перед воспитательницей, а одна лопочет что-то стоя, косичкой ко мне. Ба, да это ж моя. Прислушиваюсь — и что же слышу? «...А у моего папы мама — третья жена».

Когда мы с ней вышли уже, я ей:

— Софулька, зачем же рассказывать все, что дома делается?

На что она мне:

— А я не все-о-о...

• • •

Дома у меня — после папиного — не было больше. Жилплощади были: жить-то живи, да не заживайся... Коих насчитал семнадцать за жизнь, включая нынешнюю —

...с балконом в деревья: летом — в гущу листвы, зимой — в заиндевелые ветви; с красавицей борзой на ковре у книжного шкафа, свернувшейся именинным кренделем — глазастая морда на лапах.

О домочадцах моих двоих я уж и не говорю!..

Старинные часы твердят:

— Дом-м, дом-м, дом-м.

* * *

Горит-разгорается осень. Уже и осинки зарделись и затлели дубки. А уж клены-то, клены — ну просто пылают! Неделька-другая пройдет, и все почернеет, как после пожара.

Шестьдесят третья осень моя — ленинградская.

А пятьдесят третья где отпылала?

В Петрозаводске, куда ноги унес, снятый с работы после статьи «У позорного столба».

А сорок третья?

В Саратове, по возвращении с Северного Урала.

А тридцать третья?

На поселении в Карпинске, бывшем Богословске.

А двадцать третья?

В Базстройлаге, п/я 286/2.

А тринадцатая?

В Саратове же, при папе, при маме.

И третья — астраханская.

Вот, считай, и вся география моей биографии, кочевой не по доброй воле.

Посмотреть со стороны — вряд ли кто позавидует.

А зря!

Мне хватало, всегда хватало чему радоваться. Вот и говорю: кто малым доволен, тот Богом не забыт.

1960, 1967, 1977–1997

Борис Яковлевич
ЯМПОЛЬСКИЙ

ИЗБРАННЫЕ МИНУТЫ ЖИЗНИ

Проза последних лет

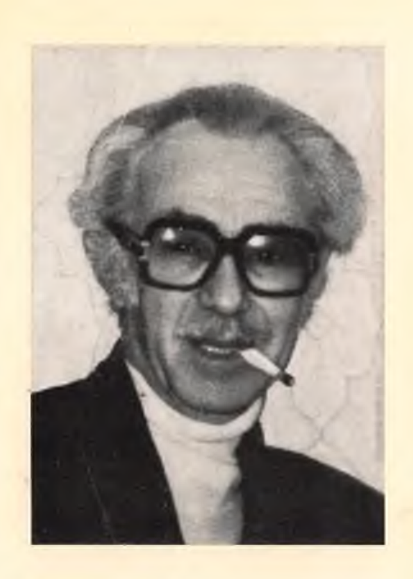
Редактор *К.Г.Лейбов*

Корректор *Г.А.Седова*

Сдано в набор 02.09 97.
Подписано в печать 15.11.97.
Формат 70X90 1/32 Бумага офсетная
Печать офсетная Усл.печ.л. 7.31
Тираж 2500 экз. Заказ № 26

Издательство "Акрополь"
Санкт-Петербург, ул Марата, д. 40.
ЛР № 62461 от 24.03.1994.

ОАО Санкт-Петербургская типография №6
193144, Санкт-Петербург, ул Моисеенко 10.



Борис Яковлевич Ямпольский
родился в 1921 г. в Астрахани; в 1929 г. семья переехала в Саратов. Сразу по окончании школы был арестован «за антисоветскую деятельность» и осужден на 10 лет по статье 58 п. п. 10, 11. Отбыв срок на Северном Урале в Базстройлаге, ушел на поселение в новостроящийся поселок, впоследствии — г. Карпинск. Работал художником при домах культуры, кинотеатрах, в ярославской реставрационной мастерской. В 1961 г. реабилитирован «за отсутствием состава преступления», вернулся в Саратов. В 1971 г. в связи с делом о самиздате и увольнением с работы после статьи «У позорного столба» в областной газете «Коммунист» уехал в Петрозаводск. В настоящее время живет в Петербурге.
Литературой увлекался со школьных лет. После освобождения с 1951 г. писал рассказы о людях, окружавших его в лагере. В 1971 г. уже законченная рукопись была похищена, надо полагать, сотрудниками саратовского КГБ. Ее судьба неизвестна до сих пор.